

Елена СОЙНИ

г. Петрозаводск



Утопический проект Юрия Солоневича

Юрий Иванович Солоневич – сын знаменитого публициста, автора «Народной монархии» Ивана Лукьяновича Солоневича (1891–1953). Большой успех имела вышедшая в эмиграции книга Ивана Лукьяновича «Россия в концлагере», повествующая, в частности, о побеге Солоневичей в Финляндию.

Стоило ли бежать? Этот вопрос вставал перед каждым беглецом. Однозначный ответ было дать трудно. Наиболее четко этот вопрос звучал в книге самого молодого из Солоневичей – Юрия Ивановича – в «Повести о 22-х несчастьях», опубликованной в 1938 году в Софии, в издательстве газеты «Голос России». Ныне это редкое и ценное издание. В самой России книга не публиковалась. Обложка проста и выполнена самим автором. Цифры «22» изображены то ли в виде двух лебедей, то ли опавших, но еще молодых листьев. Юрий Иванович оформлял практически все книги и публикации своего знаменитого родителя и больше известен немногочисленным читателям как художник, нежели писатель.

Юрий Иванович Солоневич родился 15 октября 1915 года в Москве, 4 года учился в московской школе. В 1928 году Юрий с матерью переехал в Германию и до 1931 года жил в Берлине, учился в Высшем реальном училище Корнера. Его мама Тамара Владимировна в это время работала машинисткой и переводчицей в торгпредстве. Вернувшись в Москву в начале 1930-х годов, Юрий посту-

пил в московскую школу кинематографистов на отделение работников сцены.

Солоневичи совершали несколько попыток бежать. В результате второй они были арестованы под Петрозаводском 9 сентября 1933 года, осуждены и отправлены в лагерь. Третья попытка оказалась удачной, 28 июля 1934 года Иван Солоневич вместе с сыном совершил побег из Медвежьегорска, а его брат Борис бежал из Лодейного Поля 27 июля и 8 августа перешел границу. Иван и Борис Солоневичи посвятили страницы своих книг третьему побегу, завершившемуся счастливым результатом, юный Юрий в «Повести о 22-х несчастьях» описывает первую попытку – «неудачную», но завершившуюся просто возвращением домой. «Повесть о 22-х несчастьях» написана ярко, со своеобразной иронией и сарказмом. Не мудрено, ведь Юрий попал во всю суматоху советской действительности в достаточно юном возрасте. На момент написания повести ему было лишь 22 года, что, несомненно, автор соотносит с названием книги.

Накопленный жизненный опыт советского ребёнка Юрий подзабыл, проведя за границей несколько лет в юном возрасте. Вернувшись на советскую родину, представлял её не лучше, чем любой турист. Страна Советов была ему непонятна и в то же время любопытна.

В первой половине повести автор рассказывает о своих приключениях в Советской России, уделяя

особое внимание взаимоотношениям с режиссёром Абрамом Матвеевичем Роомом (1894–1976), впоследствии снявшем фильмы: «Суд чести», «Гранатовый браслет», «Цветы запоздалые». Юрий Солоневич был его помощником, поэтому из повести помимо всего прочего можно вынести немало интересных фактов из биографии известного режиссёра и из истории советской киноиндустрии 1930-х годов. Во второй части автор переходит к описанию одного из самых ярких событий своей жизни – попытке бежать через карельскую границу в Финляндию. Книга Юрия Иванovichа резко вы-



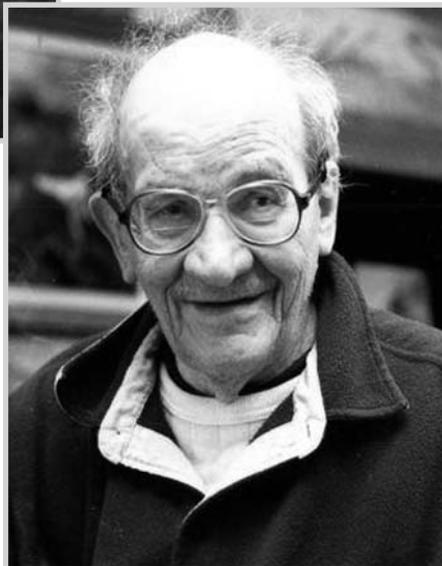
деляется из литературной истории побегов, вместо героического описания препятствий, погони, голода – ирония, улыбка, насмешка подростка над незадачливыми родителями, жаждущими переделать мир.

Каждый из участников воспринимал побег по-своему. Инициаторами, конечно же, были Иван и его брат Борис, а для молодого Юрия побег был всего лишь очередным приключением. Возможно, ему не так уж и хотелось бежать. В России для него было много интересного и непознанного. Он смотрел на все происходящее в Советской России глазами человека, познавшего Запад, с «твердым намерением в кратчайший промежуток времени к этой стране приспособиться». Автор постоянно использует прием самоиронии, показывая своего героя с фотоаппаратом новейшей немецкой модели перед стихийной и непостижимой Россией. Герой желает фотографировать неприглядные стороны жизни. Он пытается тайком снять почти сиреневые, в царапинах ноги беспризорного мальчика, торчащие из штанин, ноги, а не глаза. Но понимает, что с такой установкой подходить к России нельзя.

Замысел побега для Юрия был просто интере-

сен. Юрий молод, здоров, крепок, не лишен романтики, художественных задатков. До «большой политики» он еще не дозрел, к тому же вся ответственность за успех предприятия лежит, прежде всего, на старших, а им можно доверять, с ними все будет так, как задумано.

Юрий Солоневич уделяет много внимания деталям, пейзажным зарисовкам, размышлениям на «отвлеченные темы». У него больше времени и для мелочей, и для того, чтобы почувствовать всю первозданную красоту карельской природы. Иван и Борис уже не воспринимали всей прелести природы, ни водопады, ни бурные реки не останавливали их взгляда, у них была только одна цель – Финляндия. В отличие от старших Солоневичей, Юрий в своей повести выступает как натурфилософ, задумываясь над местом природы в жизни человека. Для Юрия природа представляла собой бесконечную стезю, откуда можно черпать вдохновение и идеи. Он находит красоту и романтику в



обычных вещах, смотрит на мир совершенно другими глазами. Ранее не виданная Юрием красота поражает его сознание, он пишет о Карелии так, как никогда бы не написали ни Иван, ни Борис... «Утро раскрыло перед нами панораму карельского

болота во всей его красе. Туман, смешиваясь с дымом стоявшей неподалеку деревеньки, устилал кочковатую равнину белесыми простынями».

Север казался беглецам демоническим местом, но герой повести бежит от северного демонизма не по своей воле. И поэтому Карелия, ставшая для беглецов настоящей пропастью, бездной, перестает пугать Юрия и представляется ему храмом, где забывается время, где человек остается один на один с вечностью: «Был забыт счет шагам, было забыто даже самое время!»

Целый месяц перед побегом в Москве шли дожди, и Карелия представлялась Юрию каким-то солнечным краем, где можно будет наконец «просохнуть, отогреться и даже, чего доброго, – загореть...». Ни Юрий, ни остальные участники побега, ринувшись в самую чащу карельских лесов, не представляли, куда они «суются». Карелия встретила беглецов хмурым небом, проливным дождём и ужасающей неизвестностью. Карелия была «подозрительным местом», Карелия как оборотень, она меняет облик. Это и храм, и демоническая земля. Ее представляют одной, а она оказывается совсем другой: «По берегам – лес дремучий и грозный, кормящий и убивающий, укрывающий и предательский, такой, каким он был в первый день творения, и тысячу лет назад, ...мох виснет над головой, когда проплываешь под берегом, да такой мох, что будто сам леший свою бородину в воде мочит...» Здесь чувствуется нечто сказочное, мифическое, Юрий и вправду попал в какую-то неведомую страну, и, казалось бы, куда еще бежать, зачем искать то, не знаю что?

Юрий думает об Абрашке (Абраме Матвеевиче Рооме. – **Е.С.**), которому он пошлет открытку из Гельсингфорса, о друзьях, оставленных в Москве, «думает о Финляндии, причем констатирует, что никакого понятия о ней не имеет...». Для Юрия Карелия предстает и как испытание (пока еще туманное), и как что-то переходное от городской суматохи, от бесконечных очередей за продуктами, от вездесущих чекистов, от всего этого (по словам отца) «советского кабака» – в нечто почти нереальное, но в то же время существующее на самом деле в Финляндии. На этом пути в якобы счастливую страну Карелия предстает как граница мироздания, граница между двумя мирами, пространствами, временами. Здесь сведена «граница родины с границей творения». Отсюда, по поэтической мысли Константина Случевского, остается один путь – в небытие. Но это небытие не будет раем:

*...сюда пришла моя дорога!
Скажи же, Господи, откуда мне куда?**

Ощущение «переходности» заставляет Юрия быть наблюдательным, вглядываться, запоминать мелочи, «строить» всякие фантазии. Юрий находится как бы в другой стране, где ни разу не был, и почти забывает, что они – беглецы, что их могут заподозрить, усомниться в бесчисленных бумажках с печатями, проверить, куда-то сообщить. Детально описывает он невысокого кряжистого мужичка-карела, который на лодке повез их по реке Суне к водопаду Кивач, его крикливую собачонку и допотоп-

ное средство передвижения – лодку. «Лодка была длинным плоскодонным сооружением, черным от времени и набухшим от воды, с ивовыми кольцами вместо уключин и без скамеек. Приняв в себя шесть человек с пятью рюкзаками, она погрузилась по самые борта, рискуя ежеминутно зачерпнуть мутную ледяную воду».

Мужичок-карел примечает кряжистую березу и указывает на нее путникам. Оказывается, береза эта – карельская и в Петрозаводске за кубометр дают куль муки – богатство немалое, но мужикам в Петрозаводск сдавать ее не велено, и несут они ценное сырье в трест, где платят копейки. Так в повесть врываются советские будни.

Юрий описывает древнего карельского старца из деревни Вороново, слепого и белого как лунь, горделиво сидящего на кованом сундучке. «Что-то родоначальное струилось из старца». Кажется, что в образе этого неподвижного старца, быть может, рунопевца, застыло, остановилось время, время богатырей и кудесников, волшебных подвигов и героических людей. Но время идет, и об этом напоминают сельсоветские ребята с наганами на боку, с подозрением поглядывающие на путешественников. Внимание Юрия привлекает старушка, живущая в маленькой избенке у водопада Кивач, она заунывно пела и достаточно странно и быстро раскачивала люльку, в которой спал младенец, о чём Солоневич отозвался: «Как несчастный карельский эбэс умудрялся спать при таких условиях – было неясно, тем более что пение шло в том же темпе, что и качание. Вот этот уж на море не заболит!» Карельский пейзаж не перестает удивлять молодого беглеца. Берега реки Суны вдруг изменились, суша словно пропала, «уступив место плавающим кочкам, рыжей болотной жижице и завалам нанесенных рекою лесных гигантов. Было что-то доисторически-мрачное в этом низкорослом пейзаже, и фантазия... принималась за всякие дикие картины. Вот вылезет сейчас из болотного торфа длинная тонкая шея с маленькой головкой...»

К вечеру, уже на подводе, беглецы приблизились к водопаду. Шум его падающей воды перекрывал голоса, солнце садилось «в узкой полоске синеватого неба на горизонте». И молодой беглец, вместо того, чтобы думать, доберутся ли они до Финляндии, думает о солнце: можно ли до него добраться, если идти все время на запад. «А может быть, солнце к тому времени вылезет с другой стороны и окажется на востоке?»

* Случевский К.К. Стихотворения, поэмы, проза. М., 1988. С. 99.

Свой путь, духовный и географический одновременно, герой осознает почти в категориях символистской эстетики как путь к Солнцу. Сравним со стихотворением Николая Рериха «Пора», где о цели пути сказано: «Надо до солнца пойти...» Или с пьесой «Борьба за свет» («Sota Valosta») финского поэта-неоромантика Эйно Лейно, герои которой провозглашают, что они должны служить солнцу. В сознании Юрия побег в Финляндию и сама идея поиска счастливой земли сродни идее поиска Беловодья, Шамбалы, солнечной страны. Таковой сначала представлялась Карелия, но она обманула. Солнце Карелии – это вовсе не солнце: «С лукавым видом профессиональной русалки, заманивающей путника подальше в болото, выглянуло солнышко, залив неприглядную северную пустошь розовато-желтой акварелью. Казалось, будто здешнее солнце – вообще не солнце, а только его тусклое отражение в этих серо-белесых небесах».

На пути к солнцу возникают препятствия и случаются потери. В повести Юрия Солоневича герой преодолевает препятствия, но обрести Солнце ценой потери родины Юрий совершенно не готов. Элементы сказочного жанра в повести Юрия переплетаются с философской прозой. Увидев водопад Кивач, герой вновь забывает о времени. И вот побег, да и все препятствия на фоне беснующихся струй кажутся герою мелкими заботами. Среди грохота срывающегося потока воды Юрий обретает спокойствие в душе: «Левая струя огромным, широким языком спокойно, точно вылитая из стекла колонна, поднималась из огромной черной миски с белой пеной. Другая струя, правая, бесновалась уже с самого своего начала... Я сел в «профиль» к водопаду на мокрый мох и просидел бог знает сколько времени. Смотрел, смотрел, смотрел – и становилось все спокойнее, величавее на душе, и мелкими заботами стали казаться весь наш побег, и дождь, и болота...»

Поначалу в лесу Юрий соотносил свой путь с прохождением по некоему храму, но вскоре тяжелые рюкзаки, острые гранитные осколки, упавшие деревья, густые заросли заставили забыть о высоких и сказочных настроениях: «Предстоящая ночь чудилась всем ... исправленным и дополненным изданием дантовского ада»; «...мир ушел куда-то в небытие, уступив место... смутному, все нарастающему подозрению, что творится что-то неладное». Неладное, действительно, случилось: беглецы заблудились. И неудивительно, что попытка бежать провалилась. Всё было просто: «Карелия оказалась одним из немногих мест на лице земли русской, где водились так называемые магнитные аномалии. Финские холодные ска-

лы и болота таили в себе какие-то предательские рудные залежи, отклонявшие стрелку компаса. Можно было, руководствуясь компасом, неделями ходить вокруг одного и того же места, пока какая-нибудь случайность не выдала бы сего трагического заблуждения...».

Надо было сдаваться пограничникам, убеждать, что они – научная экспедиция, заблудились в лесу и просят их отправить домой. Собственно говоря, так и получилось, пригодились бумажки с печатями. Вечером беглецов уже кормили горячей картошкой в мундире. «Со времени этого нашего похода груда дымящейся картошки в мундирах неизменно ассоциируется у меня с карельским пейзажем, с холодом и бездомностью и с какой-то странной смесью отчаяния и радости».

Юрий, не желая «отбивать хлеб собственному папаше», отсылает читателя, желающего знать, каким образом беглецы попали в Финляндию, к книге Ивана Солоневича «Россия в концлагере», зафиксировав только с точностью: «Четырнадцатого августа тысяча девятьсот тридцать четвертого года мы с сияющими от счастья и комариных укусов лицами выбрались наконец, как и было задумано, на финскую территорию, в стопроцентном на сей раз убеждении, что жизнь для нас начинается завтра». Но поиск счастливых стран счастья не принес. Свою повесть Юрий Солоневич заканчивает размышлением, что побег в Финляндию оказался «утопическим проектом» и не стоило «рыскать взорами» в голубых даях неведомых «тридевятьземель», ведь пруд «с самыми настоящими, золотистыми и жирными карасями» был лучше всего там, откуда они ушли, и солнце для него действительно оказалось на востоке.

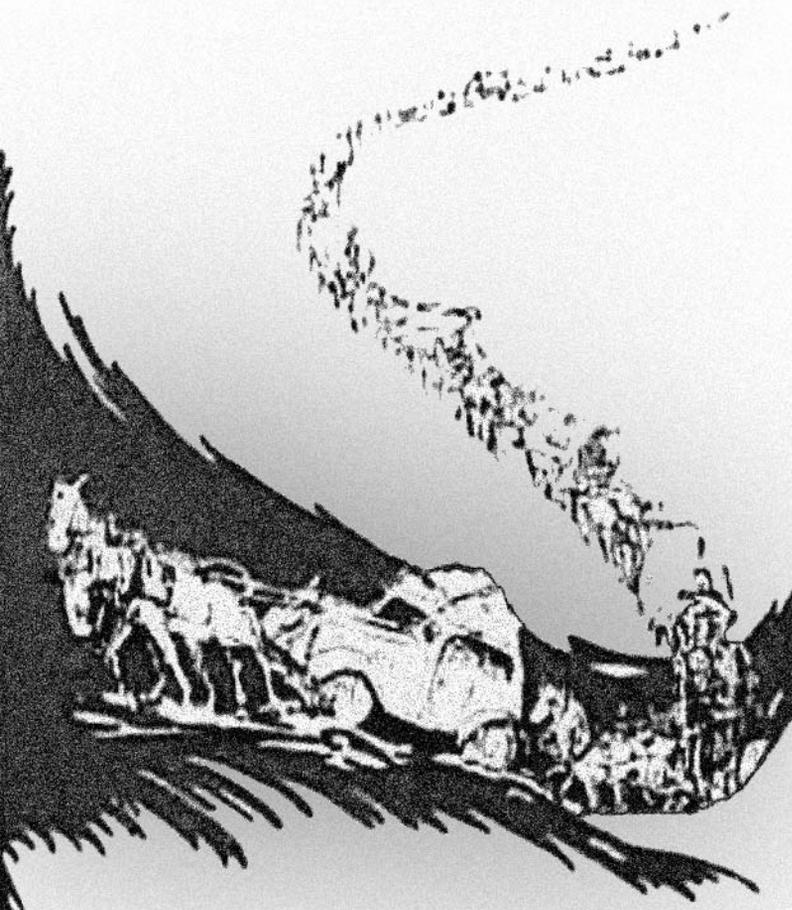
В эмиграции Юрий Иванович, или, как он подписывал свои картины, Джордж Солоневич, посвятил свою жизнь живописи. Он жил в Германии, Аргентине, а в 1952 г. переехал в США, где скончался в возрасте 88 лет в 2003 г. Свое имение Юрий Солоневич и его жена, уроженка Тампере, Инга Доннер-Солоневич назвали по образцу «Калевалы» – Солола. Известен портрет Рональда Рейгана, написанный Солоневичем, и его иллюстрации к детским книгам. Любопытно, что Юрий Иванович оформил ряд научно-познавательных изданий, рисуя планеты и столь любимое им солнце.

*Использована картина Ю. Солоневича
«Автопортрет. Моя жизнь»*

Юрий СОЛОНЕВИЧ

ПОВЕСТЬ

О 22 НЕСЧАСТЬЯХ



Публикация
Е. Г. Сойни

Иллюстрация
Юрия Солоневича

I

ЦАГИ

Немного о себе

На любую тему можно писать с двух точек зрения: с точки зрения специалиста или с точки зрения поверхностного наблюдателя. Первый способ отличается абсолютной достоверностью, в то время как второй дает некоторый моцион читательскому мозгу на предмет изыскания истины.

У меня странное положение: в вопросах советской действительности я не могу назвать себя специалистом. Но в то же время было бы излишним самоуничижением признать себя поверхностным наблюдателем.

В общей сложности я прожил в России шестнадцать лет — казалось бы, достаточно, чтобы изучить страну со всем тем, что называется ее «нравами и обычаями». Но если вы прожили, допустим, год в какой-нибудь стране, то ваше знание ее в огромной степени зависит от места, которое этот год занимал в вашей жизни, т. е. был ли это ваш первый год или, допустим, сорок первый. В первый год вашей жизни вы только научились обращаться с соской и, при некоторых лингвистических талантах, быть может, даже говорить «мама» и «папа». Но этому бы вы научились и в любой другой стране. Будь, однако, этот год вашим сорок первым, он бы вам дал не в сорок, в сорок тысяч раз больше.

Сейчас мне 22 года. Попади я в революцию в этом возрасте, мне было бы сейчас 42, и о советской жизни я мог бы говорить с приятным, как буржуазное брюшко, чувством полной компетентности.

Но в революцию я попал двух лет от роду. Теперь я умею держать соску по-советски и говорить по-советски «папа» и «мама».

Все зависит от того, с какого возраста считать человеческую жизнь сознательной.

Для того чтобы хоть немного разбираться в вопросах советской действительности, нужно энное количество лет своей сознательной жизни провести в среде всяческих месткомов, профсоюзов, партячеек, субботников, нагрузок, халтуры и прочих специфических явлений в жизни вашей неблагословенной родины. Нужно «обтереться» в этой среде. Понять ее можно только глядя на нее глазами уже «обтертого» человека.

Меня судьба двенадцатилетним оборотом вынесла из России на свет божий. В 1928 году моя мать была назначена машинисткой в торгпредство в Берлин, куда и забрала меня с собой и где я прожил и проучился до конца 1930 года. В 1930 году пришла откомандировка обратно «в Союз». Обстоятельства, которые мамаша описывает в своей книге «3 года в берлинском торгпредстве» и которых я не стану, за неимением места, описывать здесь, помешали нам застрять в Берлине.

В конце 1930 года, когда я с дрожащими легкой дрожью коленками и немного пересыхающим горлом выходил с Белорусско-Балтийского вокзала в Москве, я, в сущности говоря, так же мало знал советскую действительность, как ее знал любой средний иностранный турист. Если за первые двенадцать лет своего бурного советского детства я успел хоть на йоту познать советскую «жизнь как она есть», то последующие три года берлинской безмятежности стерли эту йоту, превратив меня в простодушную иностранную невинность. Невинность в круглых розовых очках, в желтых гольфах (о которых одна бабуся мне как-то жалостливо сказала: «Ишь, касатик! Портишки-то подвернул, чтоб не измызгались!») и вообще с таким итонским видом.

Теперь эта невинность стояла на пороге огромной, таинственной страны с дрожащими коленями, но с твердым намерением в кратчайший промежуток времени к этой стране приспособиться.

Приспособился я довольно скоро. Несмотря на невинность, я очень скоро оценил все преимущества своей высокоиностранной внешности. Ибо если эта внешность и не открывала передо мною каких-нибудь особо привилегированных сезамов, то она во всяком случае охраняла и оберегала меня от целой массы мелких, повседневных неприятностей, которые, с одной стороны, досаждают и треплют измотанного советского гражданина, но, с другой стороны, учат его жизни, уму-разуму и божественному искусству советской изворотливости.

Заграничный аппарат сберег мне много нервов, но он чуть было не провел меня мимо этого искусства, мимо советской действительности, мимо современной России. Заграничный аппарат стоил мне многих коломитных часов впоследствии...

Начало своего второго советского периода я провел с отцом в паломничествах по широкому лицу земли русской: он — с блокнотом, а я — с «последним криком» европейской фототехники карманным аппаратом «лейкой». Он — в погоне за литературной халтуркой, я — в погоне за «кадром». С одной стороны, стояла Россия с голодом, экзотикой и раскосыми киргизами, а с другой — я с «лейкой».

Помню, как-то раз ранним осенним утром я снял на станции горного городка Темир-Хан-Шуры спящего безпризорника. Фотография эта есть у меня и сейчас. Он сидел на вывороченном из мостовой бульжнике, прислонившись спиной к каменной стене стационарного здания. Козырек надвинутой на глаза кепки заменял ему кроватный балдахин.

Ночью стукнул уже, видимо, легкий морозец, ибо на серо-черном отрепье его штанов серебрился иней. Запястья тонких, как щепки, рук в том месте, где они торчали из карманов брюк, но куда не доставала бахромы коротеньких рукавов, были синевато-лиловые и шершавы от ветра и превратностей жизни.

«Кадр» получился роскошный. Я много потерял времени, пока нашел подходящую точку зрения и пока достаточно возило солнце, чтобы можно было снять с руки, без штатива. Я осторожно двигался вокруг своего трофея, стараясь как-нибудь не разбудить и не вспугнуть его. Но его не будили даже свистки проходящих в десяти шагах маневренных паровозов...

Потом, намного позже, после одиночки и лагерных барачков, я как-то вспомнил этот снимок. По ассоциации вспомнил самый процесс его производства. Вспомнил свое настроение восторженного интуриста, нашедшего какую-нибудь местную диковинку и щелкающего «кодаком» по всем направлениям.

И понял, каким западноевропейским остолопом я был в те времена...

* * *

«Умом Россию не обнять...»

Именно это обстоятельство оказалось роковым для идеи государственного планирования. Если американский журналист мистер Никкербоккер плотно вытоптантыми интуристскими тропами пролетел метеором по лицу земли русской и «обнял» теперь Россию своим всеобъемлющим умом, то нам только остается преклониться перед емкостью американских мозгов.

Мы, русские, лучше знаем нашу родину. Но, как бы плохо мы ее ни знали, мы знаем, что умом ее не обнять. Выражаясь образно, «мы знаем, что мы ничего не знаем».

Но если набрать разноцветных камушков — самых пестрых и разноформенных, но правдивых рассказов о жизни современной России, — то можно сложить себе из них одну большую мозаику. Такая мозаика, быть может, хотя бы отчасти заполнила белые места на карте нашей таинственной родины.

Я не берусь складывать всей мозаики. Я только хочу приготовить один камешек для нее.

Первые попытки самостоятельной деятельности

Мое первое столкновение «лбом об стенку» советской действительности произошло весной 1932 года, когда дальние странствия были признаны вещью, хотя и весьма поучительной, но все же недостаточной для того, чтобы сделать из меня человека. На семейно-военном совете было постановлено, что мне следует избрать себе какую-нибудь определенную специальность и, соответствующим образом координируя свои действия, направить свои стопы в эту сторону.

Однако с «направлением стоп» куда бы то ни было дело в советской России обстоит весьма сложно. В большинстве случаев всякие самостоятельные попытки в этом смысле носят, я бы сказал, чисто платонический характер: если фортуна к вам равнодушна или вы можете похвастаться каким-нибудь особенно «мозолистым» происхождением, — вы с того завода или из того учреждения, в котором работаете, получаете путевку в какое-нибудь опреде-

ленное учебное заведение. Допустим, это будет медфак (медицинский факультет). Выбор зависит не от вас, так что вам это приблизительно безразлично. Ломать себе голову над выбором вашей будущей карьеры вам не приходится. Предполагается, что за вас думает некто высший и мудрейший, каковым в разных случаях является:

а) ком- или партячейка, если вы комсомолец или пионер,

б) местком, если вы причислены к «неорганизованной» молодежи и состоите только в профсоюзе,

в) некто, с кем у вашего папаши есть блат — если вы имеете несчастье нигде не состоять и не работать, и, наконец,

г) просто никто, если вы не имеете ни партбилета, ни профсоюзной книжки, ни даже самого обыкновенного блата... В качестве пояснительного примера приведу одного моего приятеля, которого закатали таким образом в Инфизкульт*, хотя всю свою душу он отдавал электро- и радиотехнике. В том же Инфизкульте прозябала одна моя знакомая девица, для которой мечтой жизни было ковыряться в жучках, цветочках и тому подобной мелюзге.

Сам я настолько бережно относился к своей многообещающей будущности, что ни в коем случае не соглашался отдаться на волю советских судеб, как отдавалась прочая молодежная часть советского населения. Быть может, и тут сыграли роль мои иностранные замашки, моя, так сказать, «экстерриториальная привилегированность». В свое время прельщавшую меня профессию арканзасского траппера заменило теперь нечто более современное и более подходящее к возрасту: авиация. Я возымел намерение стать летчиком или, по крайней мере, авиаинженером.

Через посредство одного удивительного инженера, который, при советских условиях по всем праздникам посещая церковь, совмещал фанатическую религиозность с усердным конструированием авиабомб, моим предкам удалось пристроить меня в самое сердце или, вернее, мозг авиационной промышленности СССР — в Центральный аэрогидродинамический институт (сокращенно ЦАГИ) на амплуа

* Институт физической культуры.

переводчика-практиканта. При ЦАГИ был свой собственный закрытый авиационный техникум, в который я, таким образом, получал шансы попасть, проработав годика полтора-два над переводами из иностранных журналов всяческих волнующих новинок в области обтекаемости несущих плоскостей.

Но я, должно быть, по наследственности, не приспособлен к конторской работе. В жизни моего отца был позорный случай, когда его выставили со службы за полную неспособностью калькулировать десятые доли пары советских ботинок, приходившиеся на долю единицы населения города Одессы в год.

Погибель моя таилась в наличии при ЦАГИ хорошо оборудованной теннисной площадки. Узнав о ее существовании, я стал проводить на ней большую часть своего служебного дня.

Должен, впрочем, сказать, что в ИНФО* — отделе, приютившем меня под своим крылышком, — работы было, если исходить из восьмичасового рабочего дня, максимум на пятерых человек. Нас же, по иронии судьбы, было там тридцать восемь. Но если бы читатель имел возможность хоть на минуту заглянуть в шесть огромных комнат, в которых табормом расположился этот веселенький отделчик, — он решил бы, что находится в главной конторе американского стального треста, где тридцать восемь хорошо оплачиваемых специалистов лихорадочно работают над составлением годового баланса.

Работа кипела... Ее было всего на столовую ложку, но она кипела, наполняя все помещение ядовитыми парами советской халтуры. Я же, по своей молодости и заграничной невинности, решил, что если делать в сущности нечего, так я лучше буду хоть в теннис играть...

Должен, однако, сказать, что в своем свободолубии я зашел слишком далеко. Там, где дело шло о моей непосредственной переводческой деятельности, сама судьба играла мне в руку: начальство в лице одной пожилой и замечательно симпатичной дамы покрывало меня где и как могло. Странички моего рабочего дневника (я должен был ежедневно записывать результаты проделанной за день работы) подписывались им сразу на неделю вперед, моя карточка к контрольным часам находилась в сумочке у того же начальства и пробивалась од-

новременно с его собственной... Словом, жизнь была разлюли-малина, если бы...

...Если бы я не обнаглел до того, что перестал являться на общие собрания и отбывать какую бы то ни было общественную нагрузку, заявив при этом во всеуслышание, что «ни мой дед, ни мой отец никогда на субботниках не бывали и что уж я-то на них, конечно, ходить ни в коем случае не буду...»

Тут уже лелеющая рука моего начальства оказалась бессильной, и я не без некоторого треска вылетел.

Вылетел, правда, ненадолго. «Познай самого себя, но познав — не впадай в уныние!» — говорит золотая поговорка. Я принял в расчет опыт пройденного и влез в ЦАГИ с другой стороны, на этот раз уже на должность фоторепортера. Должность эта была высокосекретной, по какому поводу мне пришлось подвергнуться обряду «засекречивания».

Здесь у меня является сильный соблазн отвлечься на минуту в сторону этого маниакального заболевания всякого себя уважающего советского учреждения, но я лучше воздержусь. Скажу только, что если те же самые меры предосторожности применяются и при засекречивании на более высокие и ответственные посты в советской военной промышленности, то за исход возможной войны СССР с кем-либо из его добрых соседей я совершенно спокоен: соседи имеют своих людей там, где им нужно, в совершенно достаточном количестве.

Процесс засекречивания прошел, можно сказать, быстро и безболезненно: мой цыплячий возраст притупил классовую бдительность двух знакомых (так называемых «домашних» или «ручных») коммунистов, которые подмахнули свои рекомендации. С меня была взята подписка по типу клятвы, которая берется с человека при поступлении его в ку-клукс-клан, о неразглашении «ни устно, ни письменно, ни каким-либо другим путем» виденного и слышанного, и через месяц из ГПУ пришел аттестат моей добропорядочности — акт о засекречивании. С этого момента я получил право на вход в самые сокровенные закоулки ЦАГИ и даже в такое, например, «святая святых», как ЗОК (завод опытных конструкций), где рождались типы серийных

* Информационный отдел.

бомбовозов, истребителей, разведчиков и т. п.

Должность фоторепортера требовала от меня неукоснительного присутствия при различных скучнейших опытах обтекаемости в «трубах» (аэродинамических трубах, в которых сильный поток воздуха создает для модели условия полета) или в гидроканале, где испытывались глиссеры и гидропланые поплавки, но должен сказать, что от своего пристрастия к теннису я не отказался и тут. Только на этот раз я стал поступать несколько остроумнее, используя накопившееся количество советского опыта и применяя на практике теоретические указания своего умудренного отца.

Я начал с того, что сразу же вовлек в это греховное времяпрепровождение своего непосредственного начальника, соблазнив его перспективой спустить таким образом свое пивное брюшко. За час до обеденного перерыва он с сугубо деловым видом сгребал под мышку свой портфель, распорядился выдать мне аппарат и пластинки и забирал меня с собой «в трубу» — снимать «модель № 345 АВ» или что-нибудь подобное.

Я нагружался всем своим фотоинструментарием и следовал до контрольной будки (на каждом, даже самом завалющем советском заводе имеется контрольная будка с двумя красноармейцами, проверяющими пропуск), где складывал в кучу аппарат, штатив, магний и лампы, после чего мы с легким сердцем отправлялись прямо на корт. Возвращаясь после двух-трех часов игры на работу, я слезно жаловался своим сослуживцам на эксплуататорские тенденции начальника.

Как-то раз, придя на площадку, мы напоролась на самого начальника ЦАГИ тов. ... (фамилия известная, но хоть убей — вспомнить не могу!). Мой шеф поспешил ретироваться, после чего мы битых три часа катались на коляске гидродинамического канала, где я с ожесточением снимал давным-давно уже испытанную модель аэропланного поплавка.

Таким образом, все обстояло благополучно, и перспектива авиационного техникума начала уже облекаться в телесные формы. Шатаюсь с аппаратом по отделениям ЦАГИ, а также заходя иногда в подчиненные ЦАГИ организации, я постепенно заводил знакомства с разной публикой, которая могла мне впоследствии помочь при поступлении в техникум.

Однако из круга своих знакомств я, по той же иностранной невинности мышления, выпустил самое важное — комсомольскую ячейку института. Может быть, во мне сказывались еще берлинские условные рефлексy из того времени, когда я в течение трех месяцев тщетно пытался отбояриться от тамошнего пионерского отряда. Но мамашу в торгпредстве прижали, и мне отбояриться не удалось. Попав в отряд, я с первого же дня почувствовал себя примерно так же, как чувствовал себя Маугли в плену у бандарлогов. Меня теребили, давали какие-то идиотские указания относительно общественной нагрузки, которую мне полагалось бы нести, и отнеслись с таким диким подозрением к моему индивидуализму, что этот индивидуализм на первой же неделе возмутился. Через три недели меня вышибли из отряда «за отсутствие какой бы то ни было инициативы и поведение, не подобающее в таком ответственном звене компартии, как подпольный берлинский отряд» (он тогда официально считался подпольным)... Словом, к этой организации у меня даже чисто субъективно сохранились самые нелестные чувства. Может быть, именно поэтому я и пренебрег комсомольской ячейкой.

И вот, когда подошло время и был объявлен прием в техникум, я прямо отправился к самому заведующему, с которым успел уже слегка познакомиться и который недели три тому назад довольно твердо обещал мне устройство на фюзеляже — строительном отделении.

Прихожу. Стол, за столом сидит приемная комиссия — мой заведующий и трое каких-то типов. Когда до меня доходит очередь, подаю заявление и собираюсь уходить. Но меня останавливает один из этих трех, который при ближайшем рассмотрении оказывается Тимашевым — секретарем нашей комячейки.

— А вы что, товарищ, из ЦАГИ?

— Из ЦАГИ.

— С какого отделения?

— Да вы посмотрите — там все написано.

— А почему я вас не знаю?

— М-м... Понятия не имею!..

Тимашев, конечно, знал меня, потому что во время моей переводческой деятельности самостоятельно сделал мне разнос за непосещение субботников и потом несколько раз справлялся у моего

начотдела насчет моего пристрастия к теннису (нашел у кого справляться!). Он кинул на меня рысий взгляд:

— А вы где учились?

— В высшем реальном училище в Берлине. Это тоже стоит в моем заявлении.

— Обществоведение проходили? Историю борьбы классов знаете?

Тут я и влип. Ни того, ни другого я, конечно, не знал. Учил когда-то в салтыковской первой ступени, но потом при первой же возможности постарался все это крепче позабыть. Я для советских масштабов неплохо знал математику, историю, языки и прочие гуманитарные науки... «О, как я был далек от истины!..» Мне тут же, как на полевом суде, назначили на завтра испытание, мой заведующий даже не пикнул.

Хладнокровно взвесив все «за» и «против», я на испытание просто не пошел. Оставаться в ЦАГИ — ждать приема в техникум в следующем году — не имело смысла. Я «рассекретился» и ушел из ЦАГИ, чтобы искать другие дыры в будущее. На этом и кончились мои «воздушные» мечты.

Стези самообразования

Таким образом, цаговский техникум забрал у меня ни много ни мало — целое лето. Не могу сказать, чтобы это время я потерял совсем уж безо всякой собственной вины. В свое оправдание скажу только, что вина эта состояла совсем не в моем пристрастии к теннису и не в биении баклуш, а в чем-то совершенно другом, непонятном, быть может, западноевропейской психике: я не сумел уцепиться... Шатаясь по своей фоторепортерской должности взад-вперед по ЦАГИ, я не использовал своего вольготного положения так, как на моем месте его использовал бы другой, более обтертый советский пройдоха. Я не завел себе блата там, где было нужно; увертываясь от субботников, я не делал этого с той тонкой дипломатией, которая пододала бы в таких случаях, — другими словами, я не проявил никаких талантов к изворотливости, каковая бесталанность карается в советской России всеми возможными мерами наказания, вплоть до высшей. Наконец, я ни разу не выступил на общем собрании с предложением основать новый кружок политграмоты и не взял на себя сбора

членских взносов ни одной из тьмы «добровольных» организаций.

* * *

Зима тридцать второго года ушла на зубрежку. После нескольких бесплодных попыток моих предков устроить меня хотя бы куда-нибудь после провала по тому же диамату на экзамене в наш свободнейший для поступления Салтыковский метеорологический техникум я, наконец, решил, или, вернее, мне ничего другого не оставалось делать, как заняться пресловутым самообразованием.

«Дайте мне за два с полтиной папу от станка» — поется в СССР на мотив кэк-уока. О! За «папу от станка» я бы дал тогда побольше паршивых советских «двух с полтиной»! Но папаша мой был не только что не «от станка», но даже и не «от сохи» — за сохой он, несмотря на свое мозолистое происхождение, все же никогда не ходил. Когда-то у него хватило энергии и мозгов, обогнав расейскую сошку, пойти на юридический факультет. В то время он не задумывался над последствиями этого поступка для своего будущего потомка. Теперь он был, говоря сугубо официальным языком, «классовой надстройкой». Интеллигентом. «Трудящимся». Не рабочим, а именно «трудящимся» — как снисходительно обзывается в СССР всякая интеллектуальная сошка... А я сидел теперь, проливая горячие слезы в разбитое корыто, со все нарастающим фатализмом следя за провалами всех моих попыток научиться уму-разуму...

Была, правда, еще одна попытка поступить «научным сотрудником» в ГОИИ (Государственный океанографический институт), но и она окончилась (и слава Богу, что окончилась) неудачей: недели через три после отказа я как-то снова зашел в ГОИИ и нашел здание заколоченным, а перед ним будку с красноармейцем внутри. Подошел — спросил, в чем дело.

— А вони усі сидять, — был невозмутимый ответ.

— Как сидять?..

— Так, сидять. Их усіх гепею поперепапало!

Оказалось, что в ГОИИе было обнаружено какое-то «вредительство» и он полным составом сел в ГПУ, в том числе и мой товарищ Буби Ред-

лейн, по чьему почину я и предпринял было эту провалившуюся попытку. Он, сын интеллигентных родителей, русский немец, тоже долгое время скитался по разным приемочным комиссиям, тоже работал на разных заводах, но классовое происхождение висело на нем каиновым кирпичом, и он от отчаяния пошел плавать по Северному Ледовитому океану на ГОИновской шхуне в качестве научного сотрудника. Околачиваясь круглый год в океане и вылавливая из морских глубин каких-то микробов, рыбешек и каракатиц, он имел возможность кое-чему поучиться, отрастил себе амундсеновскую бороду и, попыхивая кривой носогрежкой, рассказывал мне на побывке:

— А знаешь — фартово получается! Шхуна у нас маленькая, «Тузиком» мы ее зовем, крепенькая, как орешек, — ей ни шторм, ни лед нипочем! Провианту мы берем на три месяца, как шторм — законопатим все дырки и айда на боковую. Шторм пройдет — мы снова вылазим, на солнышке греемся и книжки читаем — в мурманской библиотеке берем. Ни тебе московских трамваев, ни тебе ГПУ! Лафа!

Словом, этот Буби тоже «сел». Что с ним впоследствии стало — не знаю. Я же, как было сказано выше, уселся за зубрежку. Досуги проводил на лыжах, в очередях и в разыскивании учебников.

С учебниками, как, впрочем, и со всем в СССР, кроме грибной икры и того, чего вам в данный момент как раз вовсе не нужно, дело обстояло из рук вон плохо. Учащиеся вузов еще кое-как получали новенькие советские учебники по одному на пятерых, нашему же брату — самоучкам — приходилось откапывать по чердакам то, что на советском студенческом жаргоне называлось «лист-листок — скок-поскок»; всяких иловайских, хвольсонов и проч. Правда, эти «лист-листочки» шли по одному за двадцать советских: в них все-таки физика была — физика, а история — история, а не сплошная классовая резня. Но кроме того, в них было нечто необычайно ценное: неисчислимые, незаменимые и иногда непревзойденные по своей мудрости изречения, заметки, ссылки и проч. Как сейчас помню — на одном старом издании истории французской революции, в месте, где говорилось о казни Робеспьера, стояла химическим карандашом заметочка: «См. жизнеописание Сталина, изд. 1950 г.».

Все эти заметки вносились предыдущими читателями и никогда не стирались и не уничтожались последующими. Своеобразное уважение к чужой мысли. К ним приписывались новые, вносились поправки вроде: «указанную книгу прочел: ничего подобного!», или: «брешешь, дядя, сказано не то-то, а то-то!»

Эти «лист-листочки» были своеобразными подпольными университетами. Из библиотек они изымались, и достать их можно было лишь по благу или чисто случайно, да и то за большие деньги. Получивший такой учебник срочно сообщал об этом товарищам, устраивалась сходка, на которой назначались часы чтения, и затем «листок» начинал ходить по рукам, сопровождаемый «контролем масс»: чтоб не сперли и не зачитали.

Впрочем, зачитать книгу в советской России считается как бы признаком хорошего тона. Вроде того, как у американских биржевых акул признаком хорошего тона считается обдуть на какой-нибудь сделке своего доброго знакомого. Заживив у вас книгу, человек, примирительно осклабясь, оправдывается тем, что он-де передал ее для вас через Марью Ивановну, а та-де забыла ее в трамвае... Вы и машете рукой. Впрочем, обычно бывает так, что и вы уже успели зажить пару книг у этого человека: если вы начнете настаивать, он вам припомнит старые грешки — проще сразу замять этот вопрос.

Но в то время как обязательные издания Ленина, Сталина, Горького и пр. служат в беспартийной среде целям, аналогичным подкладыванию под сиденье, а у партийцев — в качестве декорации на полках, — к заграничным писателям и классикам, в особенности довоенных изданий, отношение сугубо бережное, можно сказать, почти нежное. Их берегут, как фамильные драгоценности, стараются никому не давать, но, конечно, все-таки дают. Там их зачитывают, но продолжают беречь как свои собственные, пока они не перейдут дальше в такие же «хорошие руки».

Разыскивая, покупая и зажививая учебники, я, конечно, как и большинство такой «самоучащейся» молодежи СССР, руководился не каким-нибудь заранее predetermined планом, а брался за то, для чего в данный момент находил пособия. Так я, например, досконально изучил историю французской революции, сильно

подправил английский язык, в свое время мог считать себя специалистом по космическим ракетам, а также знал содержание всех дискуссий относительно каналов на Марсе.

После крушения своей авиационной деятельности я еще никакой определенной профессии не избрал, да если бы и избрал, то не смог бы найти подходящих учебников, а уж о практике и говорить было нечего. Если бы в те времена мне кто-нибудь сказал, что я года через 3-4 стану художником, я бы, как говорят в Одессе, «сделал на него большие глаза». В той плеяде школ, через которые я успел пройти за свое недолгое пребывание в этом мире, учителя рисования старались меня по мере возможности не замечать. Я платил им тем же. Так оно и шло.

Единственным руководящим методом в избрании моей будущей профессии был для меня метод исключения. Для меня было ясно, чем я никогда не стану или, по крайней мере, постараюсь не стать. Так, например, профессии бухгалтера, хирурга и балетмейстера внушали, да и до сих пор еще внушают мне настолько острое отвращение, что их я мог бы избрать только по принуждению, чего у меня все-таки, слава Богу, не было. Одного моего приятеля закатали таким образом на три года в Инфизкульт, хотя он и отбрыкивался всеми конечностями; заводская комячейка вручила ему путевку, единственную пришедшую на завод путевку в Инфизкульт, по той простой причине, что он был лучшим спортсменом на заводе. Когда он попробовал заикнуться о своем пристрастии к электричеству и радио, ему просто сказали: «Это уж потом, там ваше дело хозяйское, получите перевод в МГУ — ваше счастье. А мы пока обязаны командировать вас в Инфизкульт «без отрыва от производства». Тогда мой приятель заартачился и заявил, что в случае чего он просто уйдет с завода. На это его уже вызвали прямо в самую партачейку: «Это, значит, мы вас два года ремеслу обучали (он пришел на завод с единственной целью получить путевку на учебу), а вы теперь хвостом крутить собираетесь? Нет, дяденька, вы уж делайте что вам говорят, а то так и в летуны недолго заделаться!..» Словом, мой приятель остался и на заводе, и в Инфизкульте, только из заядлого спортсмена превратился в «чертов шкилет», ненавидящий спорт всеми фибрами своей души.

Я стоял на распутье. Налево пойдешь — коня

потеряешь. Точнее говоря — ни налево, ни направо не пойдешь, ибо и слева, и справа, и вообще со всех сторон сидели всякие советские Змеи Горынычи и Соловьи-Разбойники, не пушавшие классово-чуждый элемент.

Это состояние полной беспомощности доводило иногда до желания хоть кому-нибудь перервать глотку, не в знак протеста, а так просто — для отвода души.

Приезжающего в Москву всегда в первую очередь удивляет необычайная озлобленность, придирчивость и эгоизм населения московских трамваев. Но если он вдумается в эту психологию полной беспомощности против одушевленных и неодушевленных Змеев Горынычей, — он поймет москвичей. А пожив недельку-две в тех же условиях, ассимилируется и станет таким же, как и другие, москвичом. Не тем старым москвичом, с «говором» и прибаутками, а новым, теперешним «москвичом с бору, с сосенки» — хитрющим, как местечковый еврей, и зубастым, как щедринская щука.

Но иногда ночью, когда уткнешь полную злости голову в подушку, лезли мысли о своей собственной бездарности и ненужности, о том, что ведь вот даже если бы мне сейчас все пути были открыты, я бы все равно не знал, куда повернуть. На этажерке призваний я не нашел подходящей для себя полочки, а мой небольшой здравомыслящий советский стаж уже успел окончательно выбить из меня всякие остатки майнридовщины, выражавшиеся хотя бы в желании стать летчиком. Я копался в себе, пытаюсь обнаружить хоть крупинку пристрастия к чему-нибудь, и доходил порой до зависти к двум своим товарищам, из которых один стал с голодухи грузчиком, а другого немецких нравов папаша посадил изучать «ремесло» — отдал подмастерьем к нашему старому салтыковскому «иудею» (еврею-сапожнику), причем «иудей» выдавал парнишку за собственного племянника, так как не имел права держать наемную рабочую силу.

Бывало так тошно, что временами пропадала вообще всякая тяга к учебе, и тогда я забрасывал свои общеобразовательные учебники и шел отводить душу в нашу полулыжную, полуводочную компанию, называвшуюся почему-то «шарашкиной фабрикой». С ней мы устраивали «в ночь под выходной» *trip'y* на лыжах

по маршруту Салтыковка — Люберцы. 40 километров туда и 40 — обратно. Приходили утром вымотанные в мочалку и отсыпались, после чего вечером собирались «культурно тюкать водочку». Неделя, следующая за такой прочисткой мозгов, была снова ясна и проста, как весеннее утро, я снова садился за свою французскую революцию, пока ежедневные поездки в Москву то за хлебом, то за керосином не накопляли раздражения и злости. Тогда снова приходила черная полоса, обрывавшаяся где-то по дороге из Люберец в Салтыковку в ночь под следующий выходной день.

Шарашкина фабрика

Если вы меня спросите, откуда у задерганных советских ребят брались силы для таких суворовских походов, я вам не отвечу. Сам не знаю. Я сам находился в тихом недоумении, глядя на то, как какой-нибудь Андрюшка, тощий, как чертов шкилет, живший только и исключительно на студенческом пайке, шутя отмахивал на лыжах положенные 80 километров и потом, вечером, вылакав с пол-литра жутчайшей сивухи, все-таки находил в себе силы для последующей советской шестидневки. А советская студенческая шестидневка — это похуже недели на нью-йоркской бирже!

Да что шестидневка! Опишу для примера средний студенческий день — такой, как он есть, без драматизирования и лирики. Поможьте это на шесть да прибавьте еще парочку непредвиденных случайностей — за шесть дней всегда случится что-нибудь непредвиденное, вроде протокола в милиции — и вы получите советскую шестидневку.

Возьмем в качестве наиболее типичного примера вот этого самого Андрея Градецкого, студента первого МГУ, сына сельской учительницы, обучавшей всю нашу компанию в салтыковской школе первой ступени и теперь вышедшей в «отставку» с пенсией что-то около сорока рублей в месяц. Андрей зверской учебой и неукоснительным исполнением всякого рода общественных нагрузок добился огромной стипендии в 90 рублей. От комсомола он умудрился отвертеться, что сильно затрудняло ему заработки на стороне. Таким образом, ему была предоставле-

на для питания студенческая столовка в подвале МГУ, где он изредка, по особо торжественным случаям своего серенького житья, позволял себе моссельпромовскую конфетку к кипятку. «Нигде, кроме как в Моссельпроме!» — цитировал он при этом. Обычно же кипяток пился без буржуазных предрассудков.

Итак, начнем с утра. Вставая часов в пять (в расчете на то, что поезд опоздает), едет наш Андрюшка с одним из первых поездов в Москву.

Тут мне сразу придется отвлечься в сторону подмосковных поездов. (Хаотический характер настоящих заметок происходит, главным образом, от необходимости при описании советской действительности отвлекаться в сторону всяких «мелочей жизни». Без таких отвлечений читателю не был бы понятен, например, самый термин — первый поезд в Москву.)

Ввиду того, что условия подмосковного пригородного сообщения — вещь, никакому вдумчивому описанию не поддающаяся, приведу только следующий пример: даже зимой, в 30-градусные морозы, когда замерзают буксы и поезда волокутся двойной тягой, наиболее комфортабельными считаются места на крышах вагонов. Сюда, конечно, не могут и не рискуют взобраться представители старшего поколения, но молодежь — народ забубенный, и она пристраивается там, плюя на стужу и на грозные оклики кондукторов. Холод собачий, и рыбий мех советской обмундировки навывлет пробивается встречным ветром, но зато не приходится балансировать на одной ноге, стоя на спинке сиденья, или висеть, согнувшись в три погибели, в багажной сетке ёмкостью в один советский деловой портфель. Кроме того, два часа такой поездки внутри вагона способны отправить в нервный санаторий всякого, даже самого здорового новичка. Здесь царит атмосфера погибающего судна, на котором решается вопрос: кому занять места в последней оставшейся шлюпке. На крышах же — атмосфера молодого задора, веселой издевки над едущими внутри вездесущей «железки», а иногда даже и легкого мордобития — зрелища скрашивают скуку жизни!

Должен, впрочем, оговориться: такой степени избитости достигают только поезда от четырех до семи-восьми утра и от семи-восьми до десяти-одиннадцати вечера, когда на многострадальную железную дорогу накатывается, так сказать, «де-

вятый вал» всякого рабочего и служащего люда. Днем бывают даже такие невероятные факты, что еще в Никольском (пятая остановка от Москвы) удастся получить сидячее место. Жителей же Реутова (четвертая станция) судьба обездолила: они так и не знают, что значит посидеть в поезде... Впрочем, может быть, даже хорошо, что не знают...

Одно из наиболее оригинальных качеств подмосковных поездов, однако, это то, что они соблюдают при своих рейсах полное инкогнито. Никто никогда не знает, что это за поезд в данный момент идет, куда он дойдет и дойдет ли вообще куда-нибудь, и самое главное: сколько времени он пробудет в пути.

Идя как-то раз со станции, встречаю одного своего знакомого. Знакомый шествует вразвалочку, но с явственным намерением попасть на какой-то поезд. Спрашиваю:

— Вы куда?

— А я — на 7.20.

Дело было около десяти, по какому поводу я и делаю удивленное лицо:

— Какой же 7.20, когда сейчас уже 10?

— Ну, не на 7.20, так на 12.40, не все ли равно, как их называть?

А бывает и так: приходит в Салтыковку поезд. Все в него влезает и движется с чувством полной удовлетворенности по направлению к Москве. Но на полдороге от Никольского к Реутову у поезда что-то лопается, и он тихо и мирно возвращается в Никольское, где его, вместе со всем его населением, переводят на запасный путь. Стреляная часть публики реагирует на такой маневр немедленной высадкой и организованным порядком прет до шпалам до Никольского перрона, где и поджидает следующего поезда.

Нестреляная часть публики бросается на освободившиеся места и самодовольно пребывает в ожидании дальнейших событий. Однако дальнейшие события медлят. Кто-нибудь, выглянув в окно, заявляет, что только что прошел другой поезд на Москву. Но от запасного пути до перрона далеко, и попытавшиеся не успели вовремя добежать — поезд ушел без них. На втором часу ожидания намечается некоторая нервность в рядах пассажиров. Делаются попытки справиться о своей дальнейшей судьбе у поездного персонала, но персонал либо просто молчит (интересно отметить вообще

странную молчаливость советских кондукторов), либо лениво отругивается. В лучшем случае кто-нибудь из официальных лиц все-таки сжалится и сообщит, что у паровоза лопнула какая-нибудь существенная часть организма и что поезд дальше не пойдет. Тогда начинается стремительное переселение народов из мертвого состава на перрон, что сразу увеличивает перронное население в два-три раза. В следующий (третий по счету) поезд половина публики не попадает и остается ждать уже четвертого, теряя, таким образом, три-четыре часа времени.

Я бы рассказал еще, что бывает, когда опаздывает знаменитая «Голубая стрела» (сверхскорый Нижний — Москва) — а он опаздывает регулярно на два, на три часа, — но боюсь наскучить читателю своим грустным повествованием. Да и у каждого человека есть неприятные воспоминания, которые не следует шевелить. Вернемся лучше к нашему Андрюшке.

Одним словом, на крыше или на буферах, в восемь или в двенадцать часов, Андрей, наконец, попадает в Москву. В животе у Андрея до сего времени пусто, каковой факт заставляет его покрыть расстояние до МГУ в минимальный отрезок времени пешком или, если поезд опоздал больше обыкновенного, — на трамвае. Гривенник по советским масштабам, даже для 90-рублевой стипендии, — не деньги. Некоторые, побогаче, делают даже так: противозаконно и, вследствие этого, довольно свободно влезши в трамвай с передней площадки, остаются там стоять, предоставив дальнейшее ходу событий: если контроля не будет — проедут на шермачка; если контроль будет — попробуют поартачиться, в худшем случае заплатят рублевку штрафа и тот же гривенник за билет. По теории вероятности, такая система дает среднюю стоимость проезда в 25-30 копеек. Это — если не считать сохранных пуговиц от пальто и нервов.

Но Андрюшка молод и увертлив, а кроме того, финансы не позволяют ему беречь свои нервы таким дорогим способом. Он едет за честный гривенник и берет с боя заднюю площадку трамвая. Не медля ни секунды, он начинает локтями пробиваться к передней с тем расчетом, чтобы к остановке МГУ оказаться у выхода.

Один мой знакомый немец, едучи на вокзал к отходу скорого поезда в Германию, по той же за-

падноевропейской наивности остался стоять на задней площадке в полной уверенности, что, когда надо будет, — его предупредят или, по крайней мере, пропустят. Когда ему подошло время высаживаться, его, несмотря на весь — правда, небольшой — запас русских ругательств, не выпустили. Он проехал еще восемь остановок и опоздал в Берлин на неделю, потому что его виза истекла как раз в этот день, а поезд, конечно, ушел без него.

По дороге у Андрюшки обычно происходит несколько крупных разговоров, но они не задевают его нервной системы. Если бы они ее задевали, Андрюшка бы давно уже был в сумасшедшем доме.

Таким образом, уже несколько отряхнув с себя утреннюю сонливость, он, наконец, ныряет в мрачный подвал МГУской столовки. Столовка не отапливается никогда, но здесь уже с раннего утра сотни галдящих тел успели создать атмосферу паровой прачечной. Здесь вкусно пахнет кипятком, а у буфета ведутся перекопские бои за бутерброды с грибной икрой, воблу или нечто подобное по съедобности.

Добившись парочки таких бутербродов и кружки кипятку, здесь можно посидеть с полчасика до начала занятий, погаддеть на разные темы, поймать и переговорить с кем нужно или, например, взыскать членские взносы общества «Друг детей» с какого-нибудь там Сидорова. Этого Сидорова нигде иначе не поймаешь: встречи с Андреем в здании университета он тщательно избегает, но сюда все-таки приходит, влекомый пустотой желудка и кармана. Правда, здесь же некий сборщик членских взносов, скажем, Осоавиахима, может поймать с той же целью и самого Андрюшку, но тут уже Андрюшка надеется на Миколу Угодника и на собственную изворотливость: авось не поймают! Вообще же всяких таких «добровольных» организаций так много, что одних только должностей сборщиков членских взносов хватает на половину университета: так друг у друга и собирают...

Затем следуют занятия. О них я много говорить не буду, так как сам на них никогда не присутствовал. Для характеристики скажу только, что учебников почти нет и что лекции записывать и вовсе не на чем, что аудитории не отапливаются, а профессура, в большинстве своем, никакого почтения не внушает — все больше из выдвиген-

цев. Промежутки между лекциями заполнены всяческой мотней: за хлебом, за карандашом, в комячейку, за ордером на штаны, в учебную часть, в ректорат, за лыжной мазью, за хлебными карточками и т. п., и т. п. Для того чтобы понять все это, нужно иметь в виду, что в СССР ничто не покупается, а «достается», ничто не делается, а «комбинируется» или «халтурится».

Где-то между очередным заседанием и лекцией Андрей мельком обедает в том же мрачном подземелье. Эти обеды представляют интерес только с чисто кулинарной точки зрения: как можно, даже не обладая особенным поварским талантом, из картошки, воды и честных селедочных охвостьев создать такую невыразимую дрянь! Я всего два или три раза обедал в Андрюшкиной столовке, но эти переживания надолго остались в моей памяти. Только впоследствии лагерные щи несколько сгладили их.

С концом лекций, однако, рабочий день далеко еще не кончается. Если нет какого-нибудь очередного ударника или субботника, на которые Андрюшка, несмотря на всю свою стипендиатскую лояльность, все-таки старается не ходить, принимая на себя для этого преподавание политграмоты, скажем, в подшефном колхозе, — так будет какое-нибудь заседание, общее собрание или вообще что-нибудь достаточно длинное и утомительное для того, чтобы промариновать Андрюшку в городе до позднего вечера и отпустить его обратно в Салтыковку в совершенно разбитом и угробленном состоянии. Вечерний поезд в Салтыковку настолько похож на утренний, что его не стоит и описывать. Разве что психическое состояние его пассажиров более близко к эпилептическому припадку: все-таки за каждым из них — день, проведенный в Москве.

* * *

Я не очень хорошо знаю советскую молодежь. Поэтому не буду брать на себя непосильной или, вернее, несостоящей задачи высасывания из пальца данных, которых у меня нет. Так, например, крестьянской молодежи я не знаю совершенно. Молодежь рабочую знаю, так сказать, «с птичьего полета» — постольку, поскольку ездил с ней в трамваях и сталкивался с ней на почве своего оч-

кастого происхождения: «эй, дядя, мол, надень себе очки на другое место».

Кроме того, крупное место в моей картотеке занимает еще молодежь лагерная, но она как-то слишком уж далека от данной темы, чтобы ее затрагивать. Да кроме того, лагерная молодежь — это совсем особая статья. Это, так сказать, «моральная элита» молодежи всех классов и поэтому малотипична для средней массы.

Остается, значит, только «интеллигузия»: студизы, фабзайчики и — впоследствии — киноартистическая молодежь, с которой я познакомился в бытность свою на 1-й звуковой фабрике «Союзкино». Об этой последней группе мне еще впоследствии придется кое-что порассказать, но для читателей с артистическим прошлым хочу только заметить, что мои описания не будут носить льстивого характера. Этот тип молодежи и во всем мире особенно рыцарскими качествами души не блещет, в советских же условиях, где гнусность характера не только поощряется самим режимом, но и культивируется властями предержажшими, он распустился в такой буйный цветничок, что не дай те Господи!..

Так вот, значит, студенческая молодежь... Наша «шарашкина фабрика» была, по счастливому стечению обстоятельств, очень дружным и для этой публики очень типичным ядром. Это были все дети интеллигентных родителей, грызшие, по выражению Троцкого, «молодыми зубами гранит науки». Гранит был здорово твердым, но и зубы были волчьими.

Иногда, правда, и они ломались и, ломаясь, ломали и всю жизнь человека. Сколько вот таких, живых и мертвых, с поломанными зубами оставалось лежать под гранитной стеной безобиднейшего и гуманнейшего с виду учреждения народного комиссариата просвещения!.. Хорошо только, что советские газеты не ведут хроники самоубийств.

Но некоторые все-таки вгрызались в эту стену, прогрызали ее насквозь и выходили с другой стороны разболтанными физически, но морально закаленными до степени закала старого нью-йоркского биржевика. Поступая в какой-нибудь вуз, они предполагали, что их там научат какой-то профессии. Заканчивая его, они видели, что он был, в сущности, только школой жизни, один только вступительный экзаме́н куда был бы под стать среднему сорока-

летнему человеку. А профессия?.. Да какая уж там профессия! Разве советский инженер — инженер? Разве советский врач — врач?..

Конечно, можно поставить вопрос и так: зачем нужно двадцатилетнему парнишке знание жизни, если на это затрачивается его здоровье и если он в конечном результате, потеряв лучшие годы, не получает взамен даже маломальски толковой профессии? Но тогда, логически рассуждая дальше, нужно спросить, зачем вообще нужна система «гранитизирования» науки. А катаясь таким образом по дорожке логики, можно докатиться и до вопроса — зачем и кому нужен, например, и сам любимый Иосиф Виссарионович? Но таких вопросов в СССР ставить не полагается.

Впрочем, если удариться в философию и взяться сравнивать (да простится мне в этом случае смелость свое суждение иметь!) советскую систему воспитания с любой заграничной, кроме разве английской, то я все-таки отчасти предпочту советскую! В очень ограниченном числе своих преимуществ она имеет одно, которое своим удельным весом способно задавить все или почти все ее недостатки: эта система, не давая, быть может, никаких практических знаний, не наваливая на человека пресловутого «багажа», воленс-ноленс учит его самому главному — умению оперировать своими мозгами.

Побывав некоторое время за границей, я на опыте убедился в одном чрезвычайно странном факте: какому минимальному проценту человечества приходит в голову мысль о возможности во всех случаях жизни применить свои мозги в качестве главного и первостепенного орудия! Ведь людям просто не приходит в голову, что над каждым трудовым процессом и вообще над каждым поступком, который они собираются совершить, не только можно, но и просто необходимо в первую голову пошевелить мозгами! Эта система воспитания и вырабатывает народы, которые рады, когда за них думают другие. А когда потом приходит демократия, льстиво обязывающая или, вернее, дающая право каждому думать по-своему, — то вот и получается кабак с 38-ю партиями, как было до прихода Гитлера в Германии.

В советской же России умение думать является как бы простым и необходимым техническим навыком каждого гражданина: без этого навыка

не проживешь, как не проживешь без умения брать с бою трамвай или «доставать» продукты первой необходимости.

С другой стороны, умение думать — качество само по себе очень хорошее и может пригодиться во всех случаях жизни, но оно теряет половину своего смысла, если его разбазаривать на повседневные мелочи и если оно не находит себе применения в более важных вещах. В самом деле: я берусь утверждать, что, сохраняя и облегчая жизнь каждого отдельного подсоветского человека, оно самой советской власти, например, приносит больше вреда, чем пользы. Ибо подсоветский человек применяет свое умение думать в первую голову как умение изворачиваться. Он очень редко думает над той работой, которая дана ему государством. Ибо в огромном большинстве случаев он в этой работе не имеет никакой ни личной, ни национальной заинтересованности, и все его попытки вложить в нее свои мозги разбивались о ту же гранитную стену советского бюрократизма. В большинстве случаев он смотрит на эту работу только как на средство к существованию и делает ее как-нибудь, лишь бы выколотить лишнюю сотню-другую рублей. Словом, халтурит. В жизни же он шевелит мозгами главным образом «в рассуждении, как бы извернуться». А когда гражданин государства начинает изворачиваться, это в большинстве случаев ничего, кроме вреда, государству не приносит...

Вот если бы теперешнему подсоветскому человеку дать работу, которую он бы делал с удовольствием, то есть предоставить ему самому выбрать поле деятельности и дать ему ощущение, что его работа нужна, другими словами — создать Национальную Россию, в которой каждый бы знал, для кого и для чего он работает, тогда бы и русские доктора стали докторами и инженеры — инженерами.

Я не берусь утверждать (хотя и глубоко верю в это), что русский народ талантливее всех остальных. Но вот эта способность самостоятельно думать, способность в любой ситуации находить свой собственный подход к каждому делу, короче говоря, способность шевелить мозгами — она еще покажет себя! Что-то станет с бабушкой Европой, когда она себя покажет?.. Н-да...

«Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, мягких наших лапах...» На свете есть много разочарованной публики, которая счита-

ет, что «в великой мудрости — много горечи», что лучше бы вообще ничего не знать и ни о чем не думать, тогда, мол, и жизнь как-то легче до конца дотянуть... Споря с такими людьми, я дохожу иногда до состояния тихой эпилепсии! Ведь с такой психологией просто не стоило на свет появляться! Такие люди тащат нас обратно в пещеру к троглодитам: лучше быть простым мужиком, чем культурным человеком, троглодитом быть лучше, чем мужиком, еще лучше — обезьяной, а самое лучшее — просто протоплазмой, а то и вовсе не существовать!.. Это люди, которые по собственной глупости испортили себе жизнь и считают теперь, что это произошло от их чрезмерного ума... Такой публике я всегда желаю этак на годик заскочить в хороший концлагерь: вот там бы они полюбили жизнь вместе со всеми ее потрохами! Там бы научились жить, чтобы шевелить мозгами, и шевелить мозгами для того, чтобы жить!..

* * *

Эк я расфилософствовался! Но, вернувшись к преимуществам советского воспитания перед иностранным, хочу только сказать несколько слов из собственной практики. Мои товарищи по немецкой школе в 15-16 лет еще все без исключения считали в высшей степени занимательной игру в диких индейцев. Были даже некоторые, не брезговавшие оловянными солдатиками. В России в 16 лет единственные две признаваемые игры — футбол и шахматы: для других не остается ни времени, ни наивности.

С другой стороны — верно: немецкие бурши в десять раз здоровее подсоветских. По крайней мере, среди них нет такого процента туберкулезных, а нервы их похожи на белые бабушкины нитки: чисты и не рвутся. В СССР я ни разу не видел ребят, напоминающих своим внешним видом воздушный шарик, накачанный кровью с молоком. Там они скорее похожи на вяленых во бл: худы и жилисты. Но спортом занимаются приблизительно все. Правда, Германия занимает по спорту одно из первых мест в мире, но одно дело заниматься спортом так, шутя, от явственного переизбытка бифштеков, а совсем другое — держаться в форме, сжавши зубы, все время оглядываясь на свои 600 граммов хлеба в день.

И все же, когда я в первый раз попал в «шарашкину фабрику», меня, все-таки не совсем уж слабосильного, взяли, как и каждого новичка, «вымотать» на лыжах. В результате я не пришел, а приполз домой, и потом отлеживался дня три, горько стелая и сетуя... Правда, впоследствии и я приспособился. Когда мы, например, принимали в компанию моего товарища Саньку Ульриха, то я еще взялся «доматывать» его до конца, когда остальные уже скисли. Санька испытание выдержал, даже не заметив, что его собирались испытывать: до того здоровенный был парнище.

Потом, тоже в целях поступления в техникум, Санька по большому благу поступил на аэропланый завод № 1 (бывш. «Дукс») слесарем-лекальщиком. Когда он через полгода после поступления пробовал играть с нами в футбол, он на пятнадцатой минуте задохся. Саньку нельзя было узнать: от него остались, в буквальном смысле слова, кожа да кости. Дуксовская сдельщина и бригадный метод высосали нашего Саньку как лимон.

А в Германии, Финляндии, Австрии, да даже и здесь, в Болгарии, я видал совсем еще молодых ребят, не бывших в состоянии пробежать стометровку: до того с них висело сало со всех боков. Если бы этим салом была куплена мудрость Конфуция, оно бы еще нашло себе оправдание. Но эти два качества, кажется, умеют соединять в себе только обитатели далекого ориента. Европейские мудрецы, насколько я знаю, никогда особой волюминозностью не отличались.

II

1-я звуковая

ГИК

Итак — зима прошла, как говорят йоги — в медитациях и в «самоусовершенствовании». К весне накопившаяся в течение зимы мерихлюндия дошла до того предела, когда люди совершают нечто, чего «в этой жизни совершить не ново», — единственный поступок в жизни человека, в котором впоследствии не удастся раскаяться. Я целыми днями сидел дома, часами глядя в пустой, белый свет заиндевелых окон, чувствуя,

как от бесцельных «медитаций» сморщиваются и трухлеют, точно осенний гриб, мозги.

Думать было, в сущности, больше не о чем. Всю зиму продумал, проковырялся в самом себе и пришел к заключению, что жизнь — поезд, в который у меня просто не хватает ловкости вскочить на ходу. А если поезд летит на всех парах — так разве он в этом виноват?

Словом, я был обуян мировой скорбью, которая в 17 лет бывает не менее трагической, чем в 90, с той только разницей, что в 17 она проходит, как насморк, в 90 же рискует и вовсе не пройти.

В конечном результате она и начала постепенно проходить. Ибо началась весна, а московская весна имеет то огромное преимущество, что она, почти без дождей, распускает потоки невероятной грязищи, поливая все сверху, как прованским маслом, задорным солнышком. В этой грязище, весело ругаясь, устревает и утопает все живое и неодушевленное, включая сюда графики поездов, хозяйских кошек и статистику посевов.

Как-то раз, прыгая по Ленинградскому шоссе «с кочки на кочку», я проходил мимо огромного здания бывшего, блаженной памяти, ресторана «Яр». Архитектурой своей «Яр» еще напоминал о водоемах выпитого в нем шампанского и курганах съеденной в нем икры. Но внешнее оформление уже перестало говорить о его героическом прошлом: штукатурка облезла, гранитные плиты были заляпаны известкой, зеркальные окна местами заменены мозаикой переливающихся, как пятна нефти на воде, квадратных пузыристых стеклышек.

Оторвав на секунду свой лощманский взгляд от оккупировавших землю луж, я увидел двух «фабзаячьего» вида парнишек, прибывавших над гранитным порталом зеленую вывеску с желтыми буквами. Над буквами красовался какой-то странный, но довольно красивый герб: желто-зеленая кинолента, а на ней то, что впоследствии на жаргоне кинофабрики называлось «пресекатором» — вращающаяся пластинка в форме мальтийского креста, пресекающая луч света, льющийся из киноаппарата. На вывеске большими буквами стояло: ГИК, а внизу — поменьше: Государственный институт кинематографии.

«Фабзайчики» богохульствовали, прибывая вывеску, так как гранит был твердым, а гвозди

были советскими — то есть гнулись чуть ли не между пальцами. Еще не отдав себе точного отчета в том, что я, собственно, собираюсь делать, я с самым независимым видом шагнул через валявшиеся на земле мотки проволоки внутрь означенного учреждения. За моей спиной «фабзайчики» недоуменно переглянулись, но ничего не сказали. Когда я через две минуты снова вышел, не обнаружив внутри ничего, кроме свежих фанерных перегородок и общей, характерной для переезжающего советского учреждения разрухи, один из них не удержался, чтобы не спросить меня:

— Вы, собственно, кого, товарищ, ищите?

Я не имел абсолютно никакого понятия о том, кого бы я мог в данный момент искать в совершенно незнакомом мне заведении, и поэтому не стал утруждать себя выдумыванием причин, а ответил контрвопросом:

— А чего это здесь такое будет?

— А вы еще одни рамы вставьте, виднее будет!

Позанимавшись некоторое время «матереологией», мы расстались с «фабзайчатами» друзьями. Результат этого разговора как рукой снял все остатки зимней хандры и вдохновил меня так, что я плюнул на дело, по которому шел, и уже полным аллюром без разбора зашлепал по лужам домой делиться впечатлениями.

Выяснилось, что ГИК будет подготавливать кинорежиссеров, операторов и сценаристов. Начало занятий — осенью, но набор открыт уже и сейчас.

* * *

Итак, «полочка» была найдена: если мечта о пилотском шлеме канула в вечность, если для бухгалтерии или черчения я не находил в себе достаточно душевных сил, если, наконец, на пути ко всем прочим профессиям этакой китайской стеной стоял мой трижды проклятый и нетерпимый в социалистическом отечестве индивидуализм, то карьера кинорежиссера представилась мне теперь, как полоска земли — матросу с колумбовской мачты. Это было как раз то, что я все время искал, искал, сам не зная — что мне, собственно, нужно. Мне нужно было что-то, где был бы на месте мой индивидуализм, где была бы нужна, или, по крайней ме-

ре, не мешала бы, моя фантазия (каковой у меня, кстати сказать, явственный переизбыток), нужна была какая-то работа, пусть лучше не дающая ни отдыху, ни сроку, но которая не была бы связана с иссушающим «от 8-ми до 4-х».

Профессия режиссера давала все это. Но кроме этого, она давала еще нечто, о существовании чего я как-то попросту забыл в своих исканиях: художественное творчество на свой риск и страх и своими силами, творчество, результаты которого можно самому увидеть, оценить или забраковать по собственному усмотрению. Другими словами — полную независимость и самостоятельность в работе.

Так мне, по крайней мере, по юности лет, в то время казалось. И я был бешено рад.

Правда, на пути еще высилось самое главное — сумрачные фигуры пресловутых Змеев Горынычей, но у меня было интуитивное чувство, что на этот раз мне их как-то удастся обойти. Как именно — было еще совершенно неясно, но ведь какой-нибудь способ должен же существовать!

— Полочка найдена? — почти орал я, сигая через лужи.

— Полочка на-айдена! — ответил я ко всему привыкшему контролеру на Курском вокзале, когда тот попробовал прицепиться ко мне насчет билета...

* * *

Сам по себе факт «открытия» мною советской кинопромышленности не имел, конечно, мирового значения, в нее я имел так же мало шансов попасть, как и в любое другое место. Но в то время как раньше я сам не знал, что мне, в сущности, нужно — теперь я нашел точку приложения своих сил. Из потенциального состояния я перешел в кинетическое и забегал, как таракан, в поисках щели в царство «Великого Немого» (к тому времени уже, впрочем, заговорившего).

Как на грех, ни у меня, ни у моих предков, ни у наших общих знакомых не нашлось ни одного человека, имевшего какое-нибудь, хотя бы мимолетное, отношение к кинопромышленности. Сей факт чуть было снова не привел меня в отчаяние, ибо соваться в ГИК, не имея абсолютно никакой заручки, — было бы с моей стороны чистейшим безумием. Уж если мне,

имея хоть и небольшую, но все-таки заручку, не удалось проскользнуть даже в такое заваленное заведение, каким был наш Салтыковский метеорологический техникум, то что уж было и говорить о таком предмете человеческих вожделений, как Государственный кинематографический институт! Сюда бы меня и на выстрел не подпустили. А наличие первого такого ассажа сильно затруднило бы вторичную попытку поступления, даже если таковая велась бы во всеоружии самого планетарного блата.

Здесь нужен был именно блат, и блат не какой-нибудь, а именно планетарный. У меня же не было блата, не то что планетарного — а просто никакого; даже самого паршивенького благишки не было: хоть плачь! Было от чего прийти в уныние.

На тот самый крайний случай, если бы до последнего дня приема ничего (никакого «Шпигеля»*, как говорилось у нас в семье) не подвернулось — у меня все-таки была разработана одна небольшая военная хитрость, особых шансов на успех, впрочем, не сулившая. Видя, что на «поддержку общественности» мне слишком рассчитывать не приходится, я взялся за дело собственными силами: выкопал где-то штук пять более или менее популярных книжонок из области осветительной, декорационной и съемочной техники и стал их вдумчиво прожевывать. Расчет ставился на то, что, представ пред грозные очи приемочной комиссии, я просто и нахально объявлю себя практикантом с берлинской бабельсбергской кинофабрики УФА, учившимся там на советские деньги, с тем, чтобы, вернувшись, обогатить своими заграничными познаниями родную кинопромышленность. Там я, мол, изучил все технические премудрости, а теперь хочу пройти еще и режиссерский курс, чтобы стать незаменимым и полезным социалистическому отечеству специалистом.

Выслушав такую ересь, мне могли не поверить и назначить испытание: на него я, из застенчивости, просто не пошел бы. Но при соответствующем количестве апломба с моей стороны могли и поддаться на эту удочку: все-таки им и самим небезынтересно было иметь у себя такую заморскую диковинку. Приняв меня, они, конечно, на первой же неделе не замедлили бы горько во мне разочароваться. Но к тому времени смягчить это разочарование, хоть частично,

зависело бы от ловкости моих собственных рук. Оглядевшись и развив бешеную общественную деятельность, заведя блат у секретаря учебной части, у ректора, у секретаря ячейки и т.п., и т.п., я получил бы хоть и маленькую, но все же роль в решении вопроса о моей злосчастной судьбе. Кроме того, существовала еще надежда на то, что в первозданном хаосе новоиспеченного института либо просто забудут о моем самозванстве, либо не найдется человека, который взялся бы проверять наличие у меня инкриминируемых познаний. А если бы мне удалось оттянуть трагический момент постыдного разоблачения, скажем, на месяц-два — там бы я уже чувствовал себя уверенным, как клоп в соломенном тюфяке, — там бы меня уже не так легко было выкурить!

Но, повторяю, этот проект особых шансов на успех не имел. Он был чем-то вроде печатных предписаний для поведения пассажиров на случай кораблекрушения, какие вешаются в каждой кабине больших пароходов: прочтешь такое предписание и даже начинаешь удивляться, как это люди вообще умудряются тонуть. Из истории, однако, известно, что люди все так и тонут, плюя на предписания.

По моему проекту все выходило замечательно, почти идеально, но зная по опыту человеческих поколений, что наиболее точно разработанные планы имеют обыкновение проваливаться вернее и скорее экспромтов, я не ставил на него большой ставки. Если не будет другого выхода — тогда... Тем более что риска, в сущности, не было никакого.

Пока же, за неимением лучшего, я ставил ставку на экспромт. На какого-нибудь «Шпигеля» — старого, доброго Шпигеля, бывшего в нашей семье чем-то вроде доброй феи-охранительницы, появляющейся на сцене как раз в тот момент, когда конвоируемое ею эбээ ищет личного сближения с хозяйским котом. Кот уже загнан в угол и вот-вот неминуемо вцепится в эбээ всеми своими четырьмя конечностями. В этот-то момент фея и вступает во исполнение своих обязанностей. Другими словами, Шпигель был для нас тем, что люди с классическим образованием называют «деус экс махина».

* О «Шпигеле» см. «Россия в концлагере» И. Солоневича.

В ожидании какого-нибудь такого «деуса» я и находился.

Шпигель

Старые классики, вот вроде Брешко-Брешко-вского, когда их героям что-нибудь явственно не удавалось, имели обыкновение говаривать: «Увы, судьба хотела иначе...» Отличительная черта моей судьбы заключается в том, что она всегда в решительный момент «хочет иначе». Это у нее уже старая традиция. К этой традиции, как это ни трудно было поначалу, я успел привыкнуть и давно уже перестал удивляться выходкам моей уважаемой патронессы.

И вот если бы в то время судьба хоть раз изменила сама себе и не захотела бы иначе, т. е. если бы наша первая попытка драпежа* не сорвала моего, совершенно уже налаженного, поступления в ГИК, — и через несколько лет газетные журналисты спросили бы у меня, маститого режиссера, чему, собственно, родная кинопромышленность обязана появлением такого, как я, светила на ее горизонте, — я бы, сняв режиссерский картуз и вытерев платком облысевший от творческих мук череп, с достоинством ответил:

— Субтильной принадлежности дамского туалета!..

Выражаясь банальнее, это был заграничный дамский комбинезон, привезенный моей мамашей из Германии.

Уж я не знаю подробностей — как это случилось, но существование комбинезона обратило на себя благосклонное внимание одной мамашинной сослуживицы, которая при ближайшем рассмотрении оказалась чем-то вроде тещи племянника режиссерши «Союзкино» Владимирской.

Не буду вдаваться в значение в СССР роли седьмой воды на киселе. Не стану также заниматься историческими изысканиями на тему о том, каким именно образом мамаше удалось поместить капитал своего комбинезона в предприятие с такими дивидендами, каким было мое личное знакомство с самой товарищем Бертой Леонидовной Владимирской. Перескочу лучше сразу к тому моменту, когда в назначенный час, сдерживая постыдный дрожжемент в коленках, я

молотил обоими кулаками в железную дверь чердачного помещения, служившего обителью моей будущей патронессе.

Долгое время за дверью царило полное безмолвие, пока я в темноте дверной ниши не начал постепенно различать белые контуры какой-то записочки, приколотой к стене. Зажженная спичка разъяснила мое недоумение. На записочке длинной вереницей стояло: Стучать

такому-то — 1 раз,

такому-то — 2 раза,

такому-то — 3 раза и т.д.

Помню, что перед именем Владимирской значилось (мне впоследствии приходилось не раз у нее бывать, и я вызубрил эти позывные наизусть): стучать: два раза медленно (но сильно) и три мелких. Следовательно — бум, бум, бум-бум-бум! — и так повторять, пока не отзовется. Не мудрено, что при такой тщательно разработанной системе сигнализации моя беспорядочная молотья просто-напросто оскорбляла авторское самолюбие составителей этой системы и ни один жилец не отзывался. Да и кроме того — если московский уплотненный жилец не услышит сигнала, обращенного именно к нему, то есть какой-то всеми его родными и знакомыми точно заученной формулы, — стучащий может проломить дверь или обрушить дверную арку, но жилец не выйдет из своего божественного спокойствия. Это я знал и поэтому, спокойно подождав около двери минут пять, снова, на этот раз уже с полным сознанием своей посвященности, простучал: два раза медленно (но сильно) и три мелких. Результат не замедлил сказаться. По коридору зашлепали чьи-то галоши, надетые, судя по звуку, на босу ногу, и дверь отворила фигура в японском кимоно.

— Вам что, товарищ? — спросила фигура.

— Я хотел бы поговорить с режиссером Владимирской, — ответил я, собрав все запасы присущей мне корректности.

— Ну, так что? — парировала фигура.

— Да ничего, — сконфузился я. — Моя фамилия Солоневич!

— Ага! — был довольно неожиданный ответ,

* Подробности двух попыток нашей семьи к бегству и само бегство детально изложены в книге моего отца «Россия в концлагере».

после чего дверь захлопнулась, оставив меня в недоуменном ожидании.

* * *

Когда меня через несколько минут снова впустили, чья-то спина провела меня по темному коридорчику и впахнула в низенькую скрипучую дверь. Владелец спины безмолвно исчез, даже не дав на себя посмотреть.

Небольшая квадратная комнатка была обставлена с тем своеобразным советским комфортом, который достигается полным отсутствием щепетильности в применении посланных судьбою средств. Это тот неподражаемый вид мебелировки, где рядом с престарелым, но зверски шикарным буфетом из карельской березы, уживается трехногий стул с высаженным сиденьем, в сиденье втиснут помятый медный таз, и все вместе представляет собой умывальный. На столе красуется химическая реторта с отбитым горлышком. Из горлышка торчит пара измятых бумажных цветов. По стенкам, подлепленные на стекло, несколько «фотогеничных» портретов самой хозяйки: в режиссерском козырьке — с рупором, или крупным планом — ее лицо, просматривающее киноленту, или — она же в режиссерском кресле с руками, «лепящими» игру артиста, и т. п.

Но, в общем, — уютно. Широкие и низкие над самым полом окна освещают потолок узорным отражением весенних луж на мостовой. Подоконники запиханы книгами с обтрепанными корешками, а из-за стекла проглядывают бутылки с вишневкой. Видна, так сказать, хозяйственность.

Присев бочком за маленьким, бывшим туалетным, а теперь, видимо, письменным столиком, дама в кимоно дописывает последние строчки на клочке бумаги.

Я вошел и стал колом около двери. На меня она даже не взглянула. Потом, через минуту, окончив писать, встала и, перечитывая написанное, подошла к двери. Взялась за ручку и тогда только удостоила меня, наконец, взглядом.

— Вот, нате, — ткнула она мне в руку бумажку, — это для режиссера Роома. Рекомендация. Идите скорее, он в двенадцать уходит на фабрику.

При этом она надавила на ручку с явственным намерением аудиенции дальше не продолжать.

Видя, что на этом она считает свой долг по отношению ко мне законченным, я, не глядя на записку, изобразил на своем лице трудно формулируемое выражение: немножко удивления, немножко чего-то, что можно было бы сформулировать словами: — «с чего это вы так?» Так мы простояли секунды две, глядя друг на друга. Она с сердитым недоумением осматривала мою физиономию, а я продолжал ухмыляться. Потом постепенно выражение ее лица смягчилось, и она, уже в виде пояснения, добавила:

— Ему сейчас как раз нужен помреж, он возьмет кого угодно. К нему с фабрики никто идти не хочет.

Чтобы выгадать время и получить более подробные данные, я сделал вид, что под наплывом чувств ничего не понял:

— Простите, что ему нужно?..

Она недоуменно глянула на меня.

— Помреж! Ему нужен помреж.

И затем с заботливым участием, с которым обращаются к буйно помешанным, спросила:

— Вы не знаете, что такое помреж?

Советские сокращения — это нечто вроде секретного кода: если вы о нем не имеете никакого представления, вы его никогда не разберете, сколько бы вы ни бились. Но если у вас в руках есть хоть какие-нибудь опорные пункты, хоть пять-шесть условных знаков, вы, при некотором навыке и небольшой настойчивости, вскрыете его, как несложный ребус. Так, например, для словечка «пом» в советской России имеется только одно значение: помощник. К этому корню могут затем привешиваться самые разнообразные, иногда даже требующие большой эрудиции, добавления, поясняющие дальнейшую социальную классификацию данного «пома»: помзав, помнач, помрук и т. п., и т. п. В данном случае это было «помреж». При некотором напряжении фантазии догадаться было нетрудно.

— Ах, помреж! — воскликнул я. — Это что же — помощник режиссера будет, что ли?

Ее взгляд потемнел. С секунду она смотрела на меня, видимо, обдумывая — не взять ли ей свою записку обратно. Но записка была уже у меня в руке, и я как раз собирался запихнуть ее во внутренний карман пиджака. Потом она строго посмотрела на меня:

— Мне кажется, что вы... вы, видимо, совсем еще младенец в этой работе?

— Что значит младенец! — отвечал я. — Если так говорить, так я, собственно, еще и не родился для нее. Видите ли, я, в сущности говоря, хотел поступить в ГИК на режиссерский курс. Я давно уже интересовался этим делом, но у меня нет абсолютно никакого понятия, как туда влезть. Нет никакой зацепки. Вот я и думал, что вы мне что-нибудь на эту тему посоветуете!

Ее реакция, как и все, что она делала, была довольно неожиданной:

— Батюшки! — только тихо произнесла она, оставив в покое ручку двери, и с ужасом отошла обратно к столику. Потом посмотрела зачем-то в окно, повернулась и снова уставилась на меня. Я смотрел на нее совсем уже бараном.

— Вам что — есть нечего?! — выпалила она наконец.

— Н-не совсем. А почему, собственно говоря?

— Так кто ж вас гонит?! Я бы еще поняла, если бы вы захотели стать «звездой экрана», но режиссером! Как можно добровольно идти на эту гнусную профессию?! Вы, я вижу, еще действительно абсолютно никакого понятия не имеете. Да вы знаете вообще, что такое работа режиссера?! Боже, боже!.. Сколько вам лет?

— Восемнадцать, — сбрежал я.

— Ну вот! — она помолчала в сокрушении.

— У меня вот дочка есть семнадцати лет, так я ее даже в кино ходить не пускаю, чтобы она этой манией не заразилась! Уж хватит, что мать себе жизнь испортила... А вы добровольно идете! Эх, бить вас некому! — Она остановилась, глядя на меня с горькой укоризной. Потом, видимо, вспомнила свои первоначальные намерения в отношении меня и добавила с сокрушением:

— Ну да, впрочем, не мне вас, в конце концов, удерживать! Вот понюхаете у Роома пороху, сами сбежите. Если он сам вас до тех пор не выставит. У него помрежи, как из пулемета летят. А пока что — кройте скорее: он в двенадцать уходит. Только чтоб потом не претендовали, что я вас не предупредила!

Затворяя за мной двери, она еще бросила вдогонку:

— А если у вас, не дай бог, дальше пороху хватит, приходите как-нибудь после десяти вечера — может быть, еще удастся вас отговорить!

* * *

Другими словами, режиссерша Владимирская отговаривала меня стать режиссером. Людей, «нашедших свою полочку», то есть таких, которые любят свою профессию, можно разделить на две категории: на тех, которые не находят в ней ничего особенного и считают, что заниматься ею может, да и должен, был бы всякий, и на тех, которые считают ее труднейшей и сложнейшей в мире, проклиная ее на чем свет стоит, но бросить ее все-таки не могут: вне ее они остались бы без цели, без призвания, без смысла жизни. Такие люди обычно считают своим долгом отговорить новичка, запугать его, сыграть из себя великомученика, несущего непосильный крест, потому что — «иначе кто же возьмет его на себя?»

Я лично принадлежу к первой группе. Мне почему-то всегда хочется, чтобы все стали художниками, и всегда почему-то стыдно показывать людям свои, даже самые лучшие, рисунки; ведь это же так просто, ведь такую ерунду всякий мог бы сделать! И когда мне приходится философствовать с каким-нибудь современником, не нашедшим еще своей полочки, меня всегда поводит совратить его с пути истинного на художественный: ведь это же так просто и так много радости в этом! Само ведь напрашивается!

Под влиянием моих уговоров современник решается наконец испробовать себя на поприще изобразительных искусств. На результат его тщетных попыток я смотрю впоследствии, хлопая глазами, и удивляюсь: ведь так, казалось бы, просто!

Режиссерша Владимирская принадлежала ко второй группе. Свою работу, в этом я мог убедиться впоследствии, она любила до самоубийства. Неделями просиживала на кинофабрике, ругаясь со властью имущими из-за каждого костюма, из-за каждого лишнего киловатта света, из-за каждого метра пленки. Артистов держала в черном теле, но когда готовила их к какой-нибудь лирической сцене или акробатическому трюку, она окружала их буквально материнской заботливостью, доставала им сверхударные пайки, пропуска в кремлевскую столовую и т. п. Хозяйственники боялись ее, как поповна — жупела. Прочая творческая публика любила, как любят человека, всей душой преданного общему делу.

Свою работу она «переживала». Портрет с «лепящими руками», висевший у нее на стене, был для нее необычайно характерен. Сидя вот так на своем складном режиссерском стульчике, среди тропической флоры осветительных проводов, декораций, «юпитеров» и пр., она действительно буквально «лепила» игру своих артистов. Какой-то досужий оператор заснял как-то на пленку игру ее рук во время работы. Получился этюд такой дьявольской выразительности, что сам Пудовкин, искавший случая завести с Владимирской более интимные отношения, сидел на просмотре как ошарашенный и потом подошел поздравить ее с «игрой». Злые языки передавали, что она на это усмехнулась, протянула ему два кукиша и спросила:

— А вот это — видали? Что, невыразительно разве?

Абрам Матвеевич Роом

К Роому я попал в без чего-то двенадцать. Мой робкий стук в приоткрытую дверь был заглушён угрожающим гудением шести примусов в передней и чьими-то, тоже заглушёнными, визгливыми выкриками. Видя, что таким образом я могу стучать до конца второй пятилетки, я тихонько толкнул дверь и вошел. То, что представилось моим взорам, на минуту перенесло меня в атмосферу романов Эдгара По: мрачная, узкая комната с сырыми стенами и потолком, о близости которого можно было догадаться по седым космам паутины, тускло освещенным единственной, взвешенной в пространстве лампочкой без абажура. Посреди комнаты, в огненном кольце шести искалеченных ядовито шипящих примусов, — пара: длинная, как жердь, весталка с двумя кастрюлями в руках, и перед ней, по-кошачьи выгнув спину, маленький человечек с рожей Квазимодо из Одессы, потрясающий перед лицом весталки куском электрического провода.

— Я вам говорю — вы кто: вы ответственный съемщик или вы неотответственный съемщик? — визжал Квазимодо. — Я вам говорю — если сегодня в уборной не будет света, так я...

Весталка замахнулась обеими кастрюлями сразу, и человечек, хищно скрючив пальцы, ретирнулся за ближайший примус. Этот момент я нашел подходящим, чтобы выступить на сцену:

— Алло! Тут живет режиссер...

Оба мгновенно обернулись. Весталка опустила свои кастрюли и стала мирно подкачивать один из примусов. Человечек выпрямился из своей боевой стойки, оправил куриную грудь и, лавируя между кухонным оборудованием, направился ко мне.

— Это я. А что? Вы от Калюжного? Когда он, дурак, привыкнет, что меня в двенадцать нет дома.

У меня похолодело в зобу: со стороны своей судьбы я ожидал всяческих свинств, но ниспослать мне в качестве шефа этакого мандрила было с ее стороны просто издевательством. Секунду я был в некотором замешательстве, которое Роом, по-видимому, принял за оскорбленное самолюбие.

— Ах, я вижу, вы не от Калюжного? Ну, тогда извиняюсь! Так чего же вам надо?

Я представился и подал ему записку Владимирской. Он взял ее обеими руками и направился с ней к ближайшему примусу с таким видом, как будто он ее собирает, не читая, сжечь. Я уже было бросился удерживать его от этого безумного поступка, но он нагнул голову к самому чайнику и стал, шевеля губами, читать.

— Ага! — произнес он через минуту. — А она вас знает? Она же дура! Она всех своих людей ставит не туда, куда надо. Ну, пойдете, посмотрим, что вы такое из себя! — И он проследовал в свою комнату, помахав за спиной рукой, приглашая меня войти.

Комната была побольше жилья Владимирской, но имела вид гроба, забитого до краев рухлядью: тут был средневековый рояль без крышки и с повыбитыми клавишами, поверх него были положены доски, а на досках в живописном беспорядке были понаставлены какие-то закопченные чайники, банки из-под варенья, валялись картофельная шелуха и колбасные шкурки, окурки и мушиные трупы. На огромном, министерского происхождения, письменном столе возвышались кипы каких-то рукописей и журналов, переложенные и перевитые мотками киноплёнки, а посередине на чем-то вроде бювара лежал огромной величины, толщиной в среднюю ливерную колбасу, красный карандаш, которым Роом орудовал, как маршальским жезлом. Когда он уселся и своим скруджевским подбородком указал мне на огромный провалившийся

диван, он сразу схватился за этот карандаш и прицелился им в меня, как из револьвера.

— Что вы знаете? Вы где работали? Вы языки знаете? — затараторил он, глядя на меня поверх своего карандаша.

— Немецкий, английский и немного французский, — ухватился я за последний вопрос, предпочитая обойти предыдущие молчанием.

— Пшшш, не перебивайте! — зашипел он. — Если вы меня сразу начинаете перебивать, так какой же вы будете помощник? Я вам слово, а вы мне десять! Вы слушайте, когда я вам что говорю! Так вы, значит, немецкий знаете? Это значит — вот! — он, как лопнувшая пружина, метнулся через стол и ухватил кипу журналов. — Вот садитесь и переведите все, что отмечено красным карандашом. Я приду в три часа, чтобы все было переведено. Вон там на шкафу пишущая машинка. Пишите три экземпляра. А когда кончите — вы умеете проводку чинить? Спросите эту гражданку, что в кухне, она вам скажет — надо в уборной сеть исправить. А то прямо безобразие!

Он вскочил и, побесновавшись немного по комнате в поисках шляпы, вылетел за дверь. Я было вздохнул свободно, но ровно через секунду он снова влетел и, указывая на меня, за неимением карандаша, шляпой, выпалил:

— У вас деньги есть?

— Есть, — ответил я, ничтоже сумняшеся.

— Ну и хорошо! — был странный ответ, после чего он исчез, на сей раз уже окончательно.

* * *

Оставшись в комнате один, я, со свойственным каждому человеку любопытством, стал осматриваться. Снял со шкафа машинку. По этой исторической реликвии было видно, как тяжело досталось Эдиссону его изобретение.

Попутно заглянул на шкаф. Там, под пылью веков, обнаружил целую библиотеку пикантной литературы, чуть было не увлекшей моего внимания, но вовремя сообразил, что, занявшись изящной словесностью, я провороню свой перевод. Поэтому слез со стула и обратился к кипе оставленных Роомом журналов.

Ожидая увидеть в этой кипе какую-нибудь специальную литературу, что-нибудь вроде техни-

ческих проспектов или специальных изданий кинопромышленности, я был немного шокирован, не найдя во всей кипе ничего, кроме старых, затрепанных номеров «Die Woche» и юмористического журнала «Simplicissimus».

Это было уже само по себе достаточно удивительно, но решив, что начальство руководствуется какими-то высшими соображениями, я подавил в себе недостойные сомнения и стал перелистывать. В первом журнале не нашел ни одной красной пометки. Во втором, в отделе юмора, был отчеркнут какой-то традиционно-безмозглый анекдот и такая же безмозглая, хотя и неплохо сделанная, карикатура. Затаенный смысл этого странного «коммунике» ускользал от меня.

Но потом вдруг поле деятельности прояснилось: я набрел на огромную статью под заглавием: «Как Паст стал Папстом». Статья была вдоль и поперек отчеркнута жирными красными линиями, выдававшими своей толщиной свое происхождение от вышеупомянутого карандаша.

Среди сорокаэтажных дифирамбов красному солнышку кинопромышленности автор в сильно облагороженном виде демонстрировал технику восхождения к высотам славы и популярности.

Из своего небольшого, но, по правде сказать, здорово концентрированного жизненного опыта я вынес одно убеждение, которое если и не является переворотом в современной психологии, то, во всяком случае, достаточно крепко и обоснованно: такие вещи, как слава, известность и тем более популярность, вовсе не достаются человеку за те качества, которыми он славен, известен или популярен. Мне в своей жизни не приходилось видеть совсем уж великих людей; но те звезды второй, третьей и двадцать пятой величины, которых мне удалось разглядеть невооруженным глазом, выгребали на поверхность человеческого моря стилем, весьма похожим на вольноамериканскую борьбу: хватай и бей кого попало, чем и по чему попало!

Поэтому я не склонен слепо верить дифирамбам. В статье о Папсте дифирамбы, как блины с вареньем, чередовались с благородными деталями из жизни великого режиссера. Относительно этих деталей многое можно было бы прочесть между строк, если бы промежутки между этими строками не были сплошь и рядом заполнены

жирными красными штрихами. Очевидно, мой будущий патрон не разделял моего мнения относительно суетной славы. Что ж, не мне было смеять свое суждение иметь. Оставалось сесть за машинку и перевести.

Я стал оглядываться в поисках бумаги и копирки. Перерыл весь наваленный на столе склад рукописей, пошарил по шкафу, обыскал все пространство на рояле и под ним, словом, обнюхал каждый уголок роомовского саркофага, но ничего могущего послужить для перевода (да еще в трех экземплярах) не обнаружил. Листы рукописей были мелко исписаны с обеих сторон, а копки, как говорят химики, не было даже и «следов». Ящики стола и шкаф были заперты.

В недоумении я стал посреди комнаты, морща нос от взметенной поисками пыли и принялся обмозговывать свое дурацкое положение. Посмотрел на часы. Было уже около часу. В три придет Роом.

Правда, не моя вина в том, что для полноты «невиданного благосостояния широких трудящихся масс» советская власть оставила в стороне бумажный вопрос. Чем меньше люди пишут, тем легче живется на свете! Но какое дело до этого Роому? Я попробовал поставить себя на его место, взяв поправку на его бурный темперамент. Как бы я посмотрел на человека, которому я в первый раз дал какую-то работу, а тот просидел три часа сложа руки только потому, что не нашел бумаги! Я-то еще, может быть, вошел бы в его положение, но, насколько я мог судить по первому впечатлению, Роом не умел входить в чье бы то ни было положение вообще... Вспомнились слова Владимирской о том, что «у него помрежи, как из пулемета летят». Подумал о том, что при таких условиях и мне, пожалуй, трудно будет составить исключение...

Потом, вернувшись к будням, вспомнил, что «с пустого сам мондри Салямоннице налие», и пошел разыскивать ответственную весталку на предмет починки проводки в уборной.

Выйдя в переднюю, я увидел ее в позе нимфы у родника, с хулой на устах прочищающей примус. Примус испускал клубы ядовитых газов, а накопившийся на полу слой спичек красноречиво говорил о качестве советской спичечной продукции. «Спички шведские, головки советские — пять минут воняют, потом потухают...»

Я галантно щелкнул привезенной из Германии

зажигалкой. Примус моментально изменил ядовитое шипение на радостный гул и осветил потное и изумленное нежданным спасением лицо своей укротительницы.

— Чем это вы?— удивленно спросила она.

— Зажигалкой... — пояснил я. — А где у вас эта самая уборная и что там такое случилось?

Ее лицо еще больше расцвело: на нем отобразилась радость человека, который может отблагодарить за услугу.

— А вы ничего, не стесняйтесь! Пойдемте, я вам посвечу.

И нежным жестом, как коты под живот, подхватив свой примус, она устремилась вперед, в сумрачное устье одного из коридоров, с трех сторон вливавшихся в этот примусный отдел преисподней. Врожденная любовь к сильным ощущениям повела меня за ней.

Крутые обрывистые берега из корзин, железных кроватей, шкафов и бутылок образовывали в этом коридоре узкий фарватер, миновав который, весталка вдруг остановилась перед высокой и сильно пошарпанной дверью. В верхней части двери зияло четырехугольное отверстие, по краям которого еще торчали белые зубы бывшего когда-то матового стекла.

Приоткрыв дверь, весталка пригласительно изогнулась. Мистическое освещение угрожающе гудящего примуса придавало сказочные очертания окружающей обстановке и пробуждало в душе какой-то безотчетный, неандертальский страх.

На мгновение я был охвачен нерешительностью. Мне почему-то показалось, что, как только я перешагну порог этой черной неизвестности, дверь за мной бесшумно закроется и я останусь догнывать в сыром подzemелье.

Мои худшие опасения оправдались: когда, взяв себя в руки, я шагнул на мокрый цементный пол вышеуказанного помещения, до моего слуха вдруг донесся саркастический, как хохот тюремщика, скрип закрывающейся двери.

Движением тигра, попавшего в западню, я рванулся обратно. Но от того, чтобы высадить дверь плечом, меня удержали вид примуса, медленно, как солнце над горизонтом, поднимающегося в зубатый вырез дверного окошка, и сладкий голос моей весталки:

— Вот так, я подержу. Вам так видно? Там немножко мокро.

Я не сразу оценил обстановку. Потом, оценив ее, с минуту не знал, как реагировать на такую переоценку моих возможностей. Наконец, отчаявшись найти выход из положения, я совсем уж было решился заняться выполнением возложенной на меня обязанности, но меня выручил примус, который в этот момент снова задохся и в одну секунду наполнил всю комнату ядовитыми парами. Весталка за дверью, ахая, засуетилась, и я воспользовался переполохом, чтобы выскочить в коридор и спастись от смерти неизвестного солдата после германской газовой атаки.

— Я только хотел починить проводку,— объяснил я, освещая место происшествия своей зажигалкой.

— У-у, проклятуший! — шипела весталка, бешено скобя коробок целым букетом спичек сразу. С таким же успехом она могла бы пытаться выкрасить огонь кремнем об морскую волну. Зажигалка снова спасла положение.

Присев на корточках над своим стоящим на полу анфан-терриблем, она снова взглянула на меня глазами, полными подобострастного удивления, грозящего перейти в верность и обожание. Так, наверное, смотрела на моего святого тезку красавица принцесса, когда тот изъявил желание пришипилить дракона своим копьём.

— Вы... вы хотите починить проводку?!— спросила наконец она, не веря в возможность такой самоотверженности со стороны, казалось бы, совершенно постороннего человека.

— Ну да, проводку! Мне почему-то показалось, что Роом мешает вам жить со своей проводкой?

— Миленький! — весталка вскинулась таким резким движением, что чуть было снова не задула свой примус. — Да я вам сейчас... Да вы... Родненький! Вам, наверное, клещи нужны? Я вам сию секунду, — и она вихрем помчалась по коридору.

В представлении домохозяйек всех стран и всех народов клещи почему-то фигурируют в качестве некоего универсального инструмента, этакого философского камня, способного излечить болезни всех предметов домашнего обихода, в особенности те, где сложность современной техники мешает самой домохозяйке поставить диагноз.

— Принесите отвертку! — крикнул я ей вдогонку, поставил примус на какое-то возвыше-

ние в куче хлама и занялся осмотром болезней проводки. После двухминутного осмотра выяснилось, что в выключателе сломалась контактная пружинка. Сообразив, что, занятая постройкой Дворцов Советов, Днепростроев и прочих атрибутов своей слоновой болезни, советская власть на такие мелочи быта, как контактные пружинки к выключателям, не разбазаривается, — я стал рыться в куче бутылок, матрасных пружин и прочего утильсырья в поисках какой-нибудь консервной коробки. Таковую я вскоре обнаружил и послал пришедшую с отверткой весталку за ножницами.

Пока я огромными, но тупыми портняжными ножницами вырезал из жестянки нужную мне форму пружинки, весталка, видимо, долгое время удерживавшая естественное женское любопытство, наконец не сдержалась и, запинаясь, спросила:

— Вы, э-э... Вы не сыном ли Абрам Матвеевичу приходиться?..

— Нет, — ответил я, — а что, у него сын есть?

— Дык... — сконфузилась она. — У кого нонеча сыновей нетути? У него их почитай штук пять будет... Одних жен-то сколько!..

— Жен?.. Ишь ты! — удивился я. — А комната у него как будто холостяцкая.

— Так комната известно — холостяцкая: еще бы он попробовал сюда кого-нибудь вселить! Его и так со дня на день выпрут отседова! А вы — что? В первый раз, видать, у него тут?

— Да я-то в первый, — согласился я, — вот не знаю — не в последний ли?

— А-а, значит, видно, с кинофабрики пригнали! Он их, сердешных, так и гоняет, так и гоняет!.. Вообще — подлюга человек. По всему видно!

Дальнейшая информация оставляла еще меньше места для розовых мечтаний. Выяснилось, что Роом, уходя, оставляет своих секретарей под замком до своего прихода, а приходит он иногда часам к девяти, а иногда и в полночь. Тот факт, что он меня сегодня не запер, моя собеседница объяснила необходимостью починить проводку. Я подумал о том, что будет, если он попробует запереть меня... Потом подумал, что не может же он запирать своих помощников — помощников режиссера, работа которых проходит, главным образом, на фабрике. Хотя, может быть, это только так говорится —

«помреж», а кто знает, каковы функции такого помрежа на советской кинофабрике.

Весталка со сладострастием смаковала детали личной жизни своего ненавистного соседа. Особенно характерными были описания прощальных сценок Роома с его подневольными сотрудниками.

Из восьми таких сценок, пережитых ею на своем веку, три включали в себя программным номером мордобой, при одной из них Роом был спущен со своей же собственной лестницы, а филиппики, произнесенные в пылу остальных четырех, женственная стыдливость моей весталки не позволяла ей передать даже в самых заулированных выражениях.

Одним словом, мое теперешнее положение, равно как и перспективы на мою творческую будущность, можно было бы блестяще сформулировать излюбленным в советской России выражением: кругом шишнадцать!

За прошедшие с тех пор пять с лишним лет я успел в сильной степени отнивелировать неудобоботекаемый профиль моего характера, но, если положить руку на сердце, я и сейчас еще не одна сплошная «штрмлиние», и овечьего непротивленчества во мне меньше всего. По тогдашним же временам люди, имевшие в своем характере авторитарные черточки, не считали мое существование на свете благодатью Божией и предпочитали со мной никакого дела не иметь. Я знал за ними эту странность и, с полным основанием причисляя Роома к людям с авторитарными наклонностями, стал разглядывать наш дальнейший симбиоз сквозь дымчато-темные очки пессимизма.

К моменту, когда «лампочка Ильича», наконец, тускло озарила больное место всякой уплотненной квартиры, мы с весталкой, как говорят в высокой политике, стояли на пути к тесному сближению. То есть, я хочу сказать, что мы нашли друг в друге определенное сродство душ, и когда я, кончив с проводкой, закрывал за собой дверь в роомовскую комнату, она едва удержалась, чтобы не перекрестить меня, и пожелала мне силы, мужества и удачи в моей дальнейшей жизненной борьбе.

— Ну, давай вам бог! — сказала она. — Может, вы его и обойдете как-нибудь! Он хучь и подлюга, но дурак в общем-то! Вы его — того!

Кивком головы я обещал ей Роома «того» и

снова остался один в его пыльном саркофаге. Походив по саркофагу взад-назад, постоял бездельно перед окном, потом бухнулся на диван, от которого так и несло бессонницей, клопами и непожатыми лаврами, и предался мрачным размышлениям.

Что-то будет?..

Успею ли я уцепиться на фабрике, прежде чем дело дойдет до международного конфликта? Каковы там вообще отношения, на этой самой фабрике? Попаду ли я вообще туда, или Роом засадит меня за переводы чужих лавров за неимением собственных? Как вообще все это получится?.. Неужели все-таки мне тоже придется пойти по стопам моих предшественников?.. Интересно — куда эти предшественники направили свои стопы, разойдясь с Роомом на жизненном пути? Хотя... они были присланы с фабрики — очевидно, на фабрику же и ушли. А как будет обстоять дело с моими стопами?

В результате вынесенных впечатлений я почему-то примирился с мыслью о неизбежности конфликта и жалел только об одном: окажись Роом хорошим парнем и посади он меня сразу хотя бы даже на самую что ни на есть кровососную работу, — у меня накопившегося за последние недели энтузиазма хватило бы, чтобы поднять родную кинопромышленность на недостижимую высоту! Но Роом оказался гнусом, который угробил мое святое горение одним взмахом своего двенадцатидюймового карандаша и дал мне смутно сообразить, что даже в братстве трудящихся жрецов искусства — человек человеку не тетка...

Я не знал еще всех видов творческого сотрудничества на кинофабрике, но за десять минут нашего знакомства с Роомом трепещущие ноздри моей души успели уловить этакий тонкий, едва уловимый мускусный запах великой всесоюзной халтуры, который пропитывает даже самые ароматичные стороны советского бытия и производит усугубленно-нафталинное действие на все мало-мальски возвышенные человеческие импульсы. Интересно — чем занимается Роом на кинофабрике?.. Неужели ему поручают фильмы крутить! Ведь, отвлекшись на секунду от генеральнолинейности советской кинопродукции, она, в конце концов, не так уж плоха! По крайней мере, с точки зрения художественной. Мне что-то не

верилось, чтобы из тайников роомовской души могло произрасти что-нибудь гениальное. Или, может быть, я просто еще недостаточно знаю душу артиста? От людей, имевших к святому искусству только весьма зрительное отношение, мне, правда, и раньше приходилось слышать, что великие мастера не расточают своих талантов в суетной обыденной жизни и что такие звезды, как Микеланджело или Шаляпин, лучше всего рассматривать из большого далека, чтобы не портить впечатления...

«Ч-черт его знает, — думал я, развалившись на рыхлом, как рокфор, и дырявом, как швейцарский сыр, диване. — А может быть, эта старая калоша и в самом деле гений?.. Тогда придется, пожалуй, попрыгать свои амбиции по карманам».

Словом, я ждал прихода Роома, как старый прожженный скептик ждет очередного лотерейного тиража: разминая в руках билет до состояния приятной телу бархатистости и вместе с тем достаточно осторожно, чтобы не стереть номера: а вдруг все-таки выиграет!

Ждал долго. Час, два, три... На моих упокоившихся впоследствии где-то в ленинградском ГПУ ручных часиках было уже без четверти шесть, когда до моего сознания сквозь полог победившего мою немощную плоть Морфея дошел какой-то пронзительный свист, доносившийся, по-видимому, с улицы. Долгое время я не придавал ему должного значения, принося свистуну мои самые изысканные комплименты. Но когда свист достиг того предела, который в механике принято называть критическим моментом, я все-таки не выдержал и выглянул в окно. На глубине пяти этажей среди снующей по тротуару толпы вбитым в землю кольшком стоял Абрам Матвеевич Роом и, заложив руки в карманы, извлекал из вытянутых кверху в трубочку губ пронзительный языческий свист.

Увидав меня высунувшимся из окна, он сорвал с головы свою не по сезону соломенную шляпу и бешено ею засемафорил.

— Иди-ите сюда-а!.. — донеслось до моего слуха.

Захлопнув окно, я бомбой вылетел из комнаты. Пребывающая на посту весталка проводила меня широко открытым взглядом до дверей и потом вдруг вдогонку крикнула:

— А дверь-то? Дверь-то забыли запереть!

— Заприте сами! Будьте до-обреньки!.. — проорал я ей, минуя ступеньки пачками.

Работа начинает разворачиваться.

Чтобы отвлечься от того дотошно-хронологического тона мемуаров губернской гимназистки, который овладел моим пером или, вернее, пишмашинкой за последнее время, — позволю себе перенести внимание читателя в столовую Дома писателей на Тверском бульваре, куда меня завлек Роом после двухчасового исполнения мною служебных обязанностей, не имеющих прямого отношения к ходу событий.

Таверна братьев писателей имела свои отличительные черты по сравнению с другими ресторанами, столовыми и просто столовками Москвы. Она была живописно разбросана в нескольких маленьких комнатках и пропитана этаким духом монмартрского писательского кабачка: на цветных клеенках ее столиков разводил в свое время пальцем пивные лужи сам Есенин и монументальная фигура Маяковского набивала себе неоднократно шишки на лбу об низкие ее косяки. Здесь же своими круглыми очками отсверкал свой недолгий век Бабель. Но с тех пор Есенин, рассуждая, что бы такое выкинуть «поновее», вскрыл себе вены, и даже Маяковский, из которого жизнерадостность перла, как из брандспойта, пустил себе пулю в лоб.

«В этой жизни умереть не трудно, сделать жизнь — значительно трудней», — переправил он когда-то своего не по-большевистски декадентствующего коллегу. «Сделать жизнь» оказалось в советских условиях предприятием действительно здорово трудным. Говоря воровским жаргоном, можно сказать, что не он жизнь, а скорее всего жизнь его «сделала».

Монмартрский дух держался теперь уже не на тех людях, что раньше. Создавшие и поддерживавшие его кариатиды разбрелись в разные стороны: большинство увели лабиринтно-путаные стези халтуры, кое-кто заехал и подальше, чем могла завести простая халтура, а кое-кто, исходя из того соображения, что хуже, чем в Москве, вряд ли будет, отправился, по стопам Есенина, в лучший мир.

Из китов здесь еще иногда показывались: Эренбург, Фиш, Сейфуллина, Алексей Толстой, иногда, приводя в раболепный трепет советско-писательские массы, появлялся сам, незабвен-

ной памяти, Алексей Максимович. Но Алексей Максимович не опускался до плебейских кленок и глиняных горшков с бумажными цветами, хотя и они, по тем временам, говорили о силе, мощи и славе писательского сословия. Алексею Максимовичу давались банкеты в зале заседаний Дома писателей, на которых бывал сам Сталин и на которых даже «киты» занимали только лишь чисто «совещательные» места на нижнем конце стола.

Как выяснилось лишь в далеком последствии, этот самый Алексей Максимович и был главной, затаенной целью того пышного ужина, который закатил в этот вечер Абрам Матвеевич Роом, взяв на него, в качестве высшего выражения люксуса, и своего новоиспеченного секретаря.

Ибо если висячие усы самого Горького и не часто радовали своим видом служебный, не служебный и просто околачивающийся персонал Дома писателей, то кое-кто из его секретарей заходил иногда с видом великого визиря выпить кружку пива и пожать пропущенные своим патроном лавры.

— Вы сядете за соседним столиком, — говорил мне Роом по дороге, — и закажете себе там что-нибудь. А когда я вас позову, вы подойдете, сядете и будете записывать в блокнот что я вам там буду говорить. У вас блокнот есть? Вы стенографию знаете?

С Роомом было в том отношении легко управляться, что он никогда не задавал один вопрос, а всегда несколько сразу. Можно было ответить только на тот, который вам больше всего нравился (если вообще удавалось ответить), и он этим удовлетворялся. Иногда начинал нести громы и молнии, что его перебивают. Если ответ не соответствовал его желаниям и чаяниям, возмущался, почему все всегда делается не так, как он этого требует. Во всяком случае к остальным заданным им вопросам он больше не имел случая вернуться.

— Насчет блокнота у меня... — извиняющимся тоном начал я.

— Что-о!.. У нас блокнота нет?! — сразу взорвался он. — Какой же вы помреж после этого?!

Я хотел было ему сказать, что я и до этого ни разу в своей жизни помрежем не бывал, но из дипломатических соображений удержался. И тут же решил испробовать старые как мир приемы лисы по отношению к вороне.

— Но неужели же вам, Абрам Матвеевич, в Доме писателей не дадут какого-то блокнота?! Ведь у них есть же какой-то там завхоз!

Пилюлька в интонации слова «вам» подействовала с быстротой и верностью пули в лоб. Я даже опешил от такого успеха.

— А, да, мне? Мне, конечно, дадут! Только... ведь вы же секретарь, ведь вы же тоже должны о чем-нибудь заботиться! У вас деньги есть? Как вас, между прочим, звать?

— Юрий Иванович, — ответил я.

— Иванович? Почему Иванович? — он посмотрел на меня, как если бы меня звали чем-нибудь вроде Елпидифора Анимподистовича.

— То есть... Как почему? — опешил я. — А как бы вы хотели... чтоб меня звали?

— Никогда не слыхал такого имени... — пробормотал Роом.

Тут я уже остановился посреди улицы и взглянул на него как на полоумного. Признайся он мне, что никогда в жизни не слыхал имени Абрам, — я бы, пожалуй, не так удивился: бывает же с человеком, что он забывает собственное имя. Но чтобы не слыхать имени Иван... В течение минуты мы молча смотрели друг на друга. Я — в диком изумлении, а тот — в удивлении по поводу моего изумления.

— Так вы же Солоневич?! — выпалил он наконец.

— Солоневич?.. Солоневич, а не Солоневич! — ответил я, только под конец фразы раскусывая самую соль маленькой опечатки.

— То есть как? Вы хотите сказать, что вы русский?

Я хотел ему ответить, что я таки да, русский. Вообще, в этот момент я многое хотел ему ответить. Но его последующая фраза удержала меня от безумных речей.

— Вот странно... — произнес он. — Мне кажется, вы теперь будете первым русским на кинофабрике...

* * *

Когда мы вошли в столовую Дома писателей, Роом, в мгновение ока принявший боевую павлинью осанку, указал мне место у свободного столика, а сам сел за соседний и сразу стал щелкать во все стороны пальцами, ловя

пролетающих мимо подавальщиц. Когда он, наконец, преуспел в этом предприятии, поймав одну из них за фалду, то заказал чуть ли не все наличное меню столовой сразу. Меню, впрочем, особым ассортиментом не отличалось: я и до, и после этого не раз обедал в Доме писателей, и морковные котлеты, бывшие там в программе 1932 года, стоят и по сей день как живые перед моими глазами.

Перемигнувшись с беспомощно озирающейся по сторонам подавальщицей, я всучил ей еще один заказ на кружку пива, за что сразу же получил начальственный выговор:

— Подождите, пока она мне принесет! Она за вашим пивом будет два часа бегать!

После этого между нами воцарилось молчание, во время которого Роом барабанил себя ногтями по зубам, а я предавался голубым мечтам о том, чтобы он себе таким манером выбил хоть один зуб или, по крайней мере, откусил бы палец. Однако ни того, ни другого не случилось, а вместо этого минут через десять появился некий франтовато, почти с европейским лоском одетый молодой человек, каковой впоследствии оказался третьим или пятым секретарем Максима Горького. Фамилии его я, конечно, не помню, но будем называть его, скажем, Сидоровым для того, чтобы не спутаться в терминологии. Мне еще предстоит представить читателю целую орду всякой публики, и, если бы я был в состоянии запомнить все их имена, я бы занимался сегодня чем-нибудь более производительным, чем писательство или художество.

На лице у молодого человека был горделивый ноншаланс лорда, из чисто этнографического любопытства зашедшего в лондонский портовый вертеп. Он подошел к роомовскому столику и, уперев кончики пальцев в его поверхность, скучным взглядом посмотрел в лицо вскочившему ему навстречу Роому.

— Вот видите, товарищ Сидоров, — затараторил сразу Роом. — Вот видите, как хорошо, как замечательно получилось, что вы сейчас пришли! У меня есть для вас такая масса нового! Вы знаете, я выяснил... Ну, подождите, вы сначала присядьте, мы с вами сначала закусим, чтобы легче было разговаривать, а то вы знаете, я прямо-таки чертовски голоден! Эй, гражданка! — заорал он под руку несущейся с подносом подавальщице, причем та чуть не вывернула подноса от испуга. —

Что это такое значит?! Я час тому назад заказал суп «жульен» и макароны с котлетками, и компот, и пиво — и ничего этого до сих пор нет! Я буду жаловаться товарищу заведующему столовой! Что это за безобразие!..

Но подавальщица, подобно сверхскоростному самолету, чудом выровнявшись после воздушной ямы, скользнула на крыло и исчезла в кухонном ангаре. Сидоров брезгливо поморщился, показывая этим, что, вращаясь в высшем обществе, он не привык к необходимости такого обращения с прислугой. Не то чтобы к самому обращению, а именно к необходимости его: на Роома он в этот момент посмотрел скорее соболезнующе. Из этого я заключил, что Абрам Матвеевич чего-то от Сидорова хочет и что он это «что-то», по всей вероятности, «таки» получит.

Тот неприятный промежуток времени, когда, в предвкушении грядущих яств, накопляющаяся во рту слюна мешает человеку спокойно разговаривать, Роом заполнил своему собеседнику литературной дискуссией по поводу творчества его великого патрона. Роомовская эрудиция в этой области была изумительна: некоторое время до моего появления на его горизонте и еще недели три после него он жертвовал все свои культурные интересы в угоду изучению горьковских произведений вообще и его позднейшей и невыносимейшей халтуры в частности.

Когда же на столе появились суп «жульен» и пиво (остальные ингредиенты этого блестящего супа опоздали по крайней мере на полчаса), он, заложив за воротник грязнящий носовой платок, с бокалом в руке перегнувшись через стол к своему собеседнику с таким видом, будто намеревался ткнуть его бокалом в физиономию.

— Ну, стукнемся, дорогой Иван Иванович, — произнес он таким тоном, каким человеку говорят, что у него не все исправно в туалете. — Стукнемся за здоровье нашего изумительного Алексея Максимовича и за наше... я надеюсь, наше будущее общее дело!

— Видите ли, — независимо процедил Сидоров. — Мое сотрудничество... — он деликатно стянул губами пену с поверхности пива. — Мое сотрудничество в этом деле... далеко не обязательно и, если хотите... только чисто косвенно...

— О, — перебил его Роом, — я, конечно, понимаю вас, дорогой Иван Иванович, очень даже хорошо вас понимаю, но зачем же вам, та-

кому крупному сценическому таланту, уклоняться от такого большого, я бы даже сказал, такого эпохального дела, как сценарий Алексея Максимовича?! Ведь вы же понимаете, я — как режиссер... я говорю, если бы я, например, был на месте режиссера этого сценария, — ведь я же не мог бы не оценить того факта, что вы Алексея Максимовича знаете как родного отца, что вы в курсе всех его идей, всех его творческих замыслов, что кто же, как не вы, сможете стопроцентно передать всю гигантичность его главной роли, например...

— Главной роли... — Сидоров вытянул нижнюю губу. — Видите ли... Я лично... Я, повторяю, думаю иметь ко всему этому делу лишь только совсем косвенное отношение. Если будущему режиссеру этого сценария понадобятся люди, тоже хорошо знающие замыслы Алексея Максимовича, я не говорю — на главные роли, а скажем, на какие-нибудь там технические или хозяйственные должности, я готов найти и предоставить ему таковых, и при том так, чтобы это не шло вразрез с желаниями самого автора, конечно. Что же касается главной роли, то... — он, видимо, обдумывал и обсасывал каждое слово, прежде чем спустить его с языка, — то тут еще неизвестны взгляды и намерения самого Алексея Максимовича. Может быть, у него уже есть кто-нибудь на примете для главной роли.

При словах «хозяйственные должности» Роом, видимо, несколько воспрял духом: он, наконец, увидел, чего, собственно, хочется его собеседнику.

— О, это было бы прямо-таки замечательно! Я говорю — если бы вы смогли найти мне такого человека. Вы знаете — я как раз только что внес Бассу (это наш директор — Исаак Евгеньевич Басс), так я ему внес предложение, чтобы при каждой съемочной группе был бы теперь свой завхоз. Потому что, я говорю, нет никакой больше возможности: на фабрике один завхоз, он разрывается на кусочки, от него ничего не добьешься, и вообще — какая же это работа, когда даже некому смотреть за взятым с фабрики инвентарем! Ах, если бы вы смогли быть так любезны, чтобы нашли мне такого человека! Вы знаете, я даже сразу запишу себе его адрес и фамилию, если вы, конечно, ничего не будете иметь против! Юрий Иванович! — заорал он в воздух с таким видом, будто он не

знал, где именно я нахожусь, но был уверен в моем незримом присутствии.

Я бесшумно отделился от своей недопитой кружки с пивом и с готовностью вышколенного секретаря «вырос» за его плечом.

— Запишите! — отрезал он тоном Цезаря, собирающегося диктовать очередное мероприятие в Галлии.

Я немедленно вытащил свой бумажник (блокнота Роом мне так и не достал) и отвинтил ручку. Но, напуганный вмешательством непрошеного свидетеля, Сидоров жестом бобби на посту поднял руку:

— Н-нет, видите ли, я бы хотел припасти этого человека для того режиссера, которому придется обрабатывать этот сценарий. Потому что ведь знание творчества Алексея Максимовича необходимо только в этом частном случае, не правда ли? И потом, мне кажется, Абрам Матвеевич, мы с вами еще недостаточно обсудили все возможности и вариации... Я думаю... Мне думается, что... — он посмотрел на часы... — Видите ли, Абрам Матвеевич, мне через двадцать минут нужно быть у режиссера Балабановского, так, может быть, вы меня проводите кусочек — мы с вами по дороге и поговорим. Как вы? Располагаете временем?

Роом растерянно посмотрел на меня. Ему в данный момент не стоило щеголять наличием у него личного секретаря.

— Да... Ну, хорошо! Так вы, Юрий Иванович, оставайтесь здесь, подождите, пока принесут макароны с котлетами, а потом заплатите и придете ко мне наверх.

Мы поднялись, и, когда были уже около дверей, Роому было нужно что-то важное мне сказать, он вернулся и, глядя на меня взглядом гангстера, требующего кошелек или жизнь, промышчал:

— Котлеты завернете и принесете ко мне. И хлеб тоже захватите.

Укрепленный турникет

Исполнив свои котлетно-макаронные функции и переспав ночь, полную страшных сновидений, я наутро с тяжелым сердцем снова отправился к дверям роомовской квартиры. С таким ощущением, наверное, являются духи на

то место, где лежит их непогребенная и неотпечтая брэнная оболочка.

Но Роома дома не оказалось. Наведа у какого-то заспанного типа справку о его местонахождении, я из ряда высказанных типов предположений заключил, что Роом уже с раннего утра обретается на кинофабрике.

Характерным показателем степени моей неосведомленности в делах родной кинопромышленности может служить тот факт, что, выбравшись на улицу, я потратил около полутора часов на поиски своего собственного места службы. Не то что его адреса, но я даже толком не знал его официального названия. Кроме меня, этого поочередно не знали: постовые милиционеры на углах различных улиц, три справочных киоска, телефонное справочное бюро, восемь извозчиков и еще энное количество сердобольных аматёров из гражданского населения.

Как всегда в таких случаях, меня выручил «Шпигель»: когда, игриво помахав крылышками, улетела от меня последняя надежда, Микола Угодник направил мои стопы навстречу одному моему старому приятелю Тоське Балуеву, который, помимо прочих своих несомненных достоинств, был живым Бэ-декером для города Москвы. Вникнув в суть моего пикового положения, Тоська моментально сориентировался по солнцу и, решив, что в его распоряжении еще найдется свободных минут пять, взял курс на Триумфальную арку. Дойдя до нее, он указал мне улицу, оказавшуюся при ближайшем рассмотрении, если мне не изменяет память, Смоленской, и с твердостью немецкого шуцмана заявил:

— Пятый или шестой забор налево. Зеленый такой. Только там тебя без пропуска не пустят!

— Так я им скажу, чтобы они Роома спросили, — отвечал я с легкомыслием нансениста перед райскими воротами, но без визы.

— Ну-ну! — сомнительно отозвался Тоська. — Попробуй! — После чего он повернулся на каблуках и нырнул в тротуарный поток, намекая этим на окончание своих самаритянских обязанностей.

Тоська оказался прав. Я уже упоминал о странном пристрастии советских заводов и фабрик к контрольным будкам. Даже наш микроскопический Салтыковский мыловаренный заводик имел свою гордую контрольную будку, построенную по архитектурным замыслам башенных

ворот Шильонского замка. Не хватало только откидного моста.

Первая звуковая фабрика «Союзкино» была обнесена высоким зеленым забором, увенчанным колючей проволокой, а такой контрольной будки не имели даже самые укрепленные лагпункты Беломорско-Балтийского комбината*.

Сам по себе факт наличия на советских заводах контрольных будок не представляет собой отрицательного явления, и скорее был бы даже явлением положительным, если бы гарнизон их не состоял обычно из пары до последней степени бестолковых красноармейцев, преисполненных к тому же гордым сознанием своего вооруженного доминирования над штатскими массами. Винтовка, попадая в руки даже самого наиштатского, геморроидальнейшего человечки, делает его гордым и неприступным, как Ричард Львиное Сердце, закованный во все свои боевые доспехи вместе взятые. Быть может, слишком частые в нежном возрасте столкновения с вооруженной частью человечества и сделали из меня гнилого антимилитариста... Не ко времени, должен сознаться, не ко времени!.. С такими замашками мне следовало родиться в блаженные времена царствования королевы Виктории и не в России, а где-нибудь в тихоньком Типперери. Впрочем, кто поручится, что в этом случае меня не прельстили бы медвежьи шапки или шотландские юбочки и я не стал бы вдохновенным поклонником Марса?..

Но вернемся к контрольным будкам. Контрольную будку Первой звуковой населяли два вот таких служителя Марса, отделенные от постороннего мира широким окном с маленьким отверстием, величина которого была рассчитана только на то, чтобы в него могла пройти рука, предъявляющая пропуск. Посторонние звуки, в частности такие, которые могли бы смягчить сердца служителей, в это отверстие уже не проникали. Да на тот случай, если бы они и проникли, Марс, а с ним и социалистическая законность, были застрахованы от каких бы то ни было неприятностей, связанных с неподобающим мягкосердечием служителей: сердца своих людей Марс облекает в броню из пробки и мрамора

* Один из крупных советских концентрационных лагерей, в котором мне впоследствии пришлось посидеть.

ра, а социалистическая законность добавляет к ней черную мантию вечной и неусыпной подозрительности ко всему живому.

Воспоминание о бесплодно проведенных мною перед будкой сорока минут настолько горько и болезненно, что я не стану будить его в своей памяти. Не стоит будоражить старые раны. Возьму из этой краткой трагедии только единственный отраднейший солнечный блик: когда дело шло уже к одиннадцати часам, на другом конце улицы появилась стремительно передвигающаяся фигура Берты Леонидовны Владимирской.

— Ну?! (Должен вообще сказать, что никогда в моей жизни меня это словечко так не преследовало, как за период моей кинодеятельности.)

— Да вот, тов. Владимирская... не пушают меня!

— Аа-га! — и Берта Леонидовна, не уменьшая скорости, пролетела сквозь контрольный турникет так, что он еще минут пять после этого вращался, назойливо и иронически, напоминая мне пресловутый «пресекактор». Впоследствии я привык к тому, что если Берта Леонидовна говорит «Аа-га!» — то нужно спокойно оставаться ждать дальнейших событий: вопрос будет разрешен ко всеобщему удовлетворению. И наоборот: когда она говорит «Тэ-э, тэкс!..» — то лучше и проще сразу махнуть на него рукой и даже не браться решать его самостоятельно: все равно ничего не выйдет. В то время, однако, я этого еще не знал и даже попробовал было снова вознести свои мольбы к филиальному алтарю Марса.

Но минут через пять в алтаре зазвонил телефон, после чего в вышеупомянутом отверстии появились кончик носа и глаз одного из служащих. Глаз имел пылливо-разыскивающее выражение. Радостное предчувствие птицей забило в моей груди, и, ввиду того, что на улице, кроме меня, никого не было, я с готовностью услужливого царедворца придвинулся к окошку.

— Вас как? — прогудел заглушённый стеклом бас.

— Солоневич! — радостно взвизгнул я.

За эти сорок минут служитель имел, в сущности говоря, полную возможность зазубрить мое имя на всю оставшуюся ему половину жизни. Но законность и официальность суть законность и официальность: а вдруг я в самый последний момент обменялся с кем-нибудь личностью! Потом иди — доказывай!

— Имя-отчество? — осведомился бас.

— Юрий Иванович!

— До кого хотите пройтись?

— До режиссера Роома, Абрама Матвеевича, сорока пяти лет, низенького, без очков... — затараторил я с нескрываемым нетерпением, но окошечко уже захлопнулось, и минуты через три мне был выдан пропуск, представлявший собою клочок бумажки с треугольной печатью и корявой надписью: Роом.

Думаю, что после моего прохода турникет вращался бы еще и до сих пор, если бы тому не помешали обстоятельства!

Первое поручение

Итак, я был во дворе кинофабрики, на, так сказать, опушке, с которой начиналось поле моей будущей деятельности. Дворик был маленький, окруженный со всех сторон тремя барачного типа и одним трехэтажным зданиями. Из всего, что мне в тот момент бросилось в глаза, стоит упомянуть только об огромном плакате, на котором желтыми буквами стояло: «За курение — увольнение!» и о фигуре Абрама Матвеевича в желтой соломенной кепке, торчавшей из верхнего окна вышеупомянутого небоскреба.

— И где это вы пропадаете?! — на верхней ноте встретил Абрам Матвеевич своего блудного помрежа.

— Так меня не пускали!.. — с тоской завопил я в ответ.

Роом, быть может, невольно, применил самый наилучший способ представить меня всему штатному и нештатному населению кинофабрики сразу: через несколько секунд наших пререканий — я снизу, а он из окна третьего этажа, — остальные окна главного здания распахнулись, и в них по три, по четыре стали появляться головы моих будущих сослуживцев. Происходи это в Америке, среди них, наверное, стали бы заключаться пари на то, кто из нас первый запустит в другого тяжелым предметом. Но если верить поговорке, я снова оказался мудрейшим, который уступает, и нырнул в дверь, ведущую по всем признакам в непосредственную близость к моему патрону. На лестнице меня провожали взгляды, какие про-

вожают карманного воришку, драпающего по улице от ущемленных им собственнических инстинктов.

К тому времени, когда непосредственная близость с патроном была достигнута, гнев последнего уже успел простыть, и он встретил меня на площадке лестницы следующей тирадой:

— Вы сейчас же идите к Калюжному! Вы знаете, где живет Калюжный? Тверская, 35. Это мой оператор. Так вы ему скажите, чтобы он брал коньяк и нес его к Бассу. И чтобы он ему сказал, что Музей истории революции у меня в кармане, и что я достал Махно, и что Горман сам знает Буденного, так что мы достанем фотографии и, может быть, сам Буденный будет на себя смотреть, как он получается. И что если всего этого мало, так пускай Басс задержит «Пять восходов» до завтра утром, потому что я, может быть, устройю Зальцману командировку в Крым, так он, может быть, сам откажется! И пусть Калюжный возьмет пока пленку у Кержа, я с ним сговорился, и даст Ясновскому. Потому что иначе Ясновскому нечем крутить «Толмача из Грэхмэ», он плюнет и пойдет к Бассу, а тот ему даст «Тихий Дон». Ну, да он сам знает! Во всяком случае, скажите, что я его жду в три в технической столовой, и пусть приведет с собой этого сопляка, как его там... ну этого... он знает, в общем!..

Тут только я понял всю настоящую и настоящую в отношениях с Роомом необходимость блокнота и знания на ять парламентской стенографии: все вышеизложенное было сказано одним залпом, почти безо всяких знаков препинания и, по-видимому, в расчете на беспрекословное исполнение. Это было тем, что накопилось в душе Роома за длительное мое отсутствие. Впрочем, впоследствии бывало и так, что за пять минут моего отсутствия накоплялось столько же, если не вдвое больше.

— П-ростите, Абрам Матвеевич... — перебил я.

— Не перебивайте!!! — заорал он на меня. — Когда я вас научу не перебивать?! Вы чего от меня хотите?! Я вас спрашиваю, чего вы от меня хотите?!

Я сообразил, что либо вчерашние котлеты плохо отозвались на его печенках, либо положение его кровати не позволяло ему вставать с правой ноги.

— Разрешите, я все это запишу, Абрам Матвеевич. Потому что ведь знаете сами — точное исполнение зависит...

— А, да! Записать?! Да, это вы совсем правильно! Запишите обязательно!

Ко всякого рода записям, картотекам, гроссбухам и прочим атрибутам аптекарской точности Роом относился с любовью уэльсовского начальника станции к своей землянике, что, однако, не мешало ему перевернуть и путать самые ясные вопросы его режиссерского бытия.

Ося (Остап) Калюжный

Я не знаю почему, но я сразу, с первого взгляда, почувствовал нежную привязанность к этому странному и необычному для кинофабричного населения индивидууму. Может быть, в его огромных серо-водянистых глазах я прочел то же выражение, которое ловил впоследствии и у себя, заглядывая, в пылу бешеной суетни на Потылихе, в огромные зеркальные стекла никогда спокойно не стоявших фабричных дверей... Пролетая из пятого этажа во второй подвал за реквизитом или из шестого ателье в гараж за нарядом на машину, на четверть секунды встретиться со своим собственным отображением в холодном, безучастном стекле.

Потом в памяти надолго остается этот странный, немножко чужой взгляд. Такой взгляд был, наверное, у Маугли-Лягушонка в плену у бандарлогов. В нем, я бы сказал, застывшее изумление перед многочисленностью и многообразием человеческих характеров, темпераментов и здравых смыслов, совсем не похожих на твой и на те, которые ты привык считать нормальными. Взгляд, в котором последние остатки сознания собственной нормальности борются с тысячью других людей, считающих себя тоже нормальными.

Когда я постучал в невысокую желтую дверь, на которой висел фотографический отпечаток имени Калюжный, мне сначала, секунд пять, никто не отвечал. Потом из гробовой тишины за дверью раздался тяжелый бархатистый бас:

— Входите.

Я вошел. В небольшой, сравнительно чистенькой комнатке, разбросанные в разных положениях по мебели, сидели или лежали четыре молчаливых и ко всему безразлично настроенных человека. На первый взгляд можно было подумывать, что вы попали в тайную курильню опиума:

люди не тронулись с места при моем приходе, и выражение их лиц было такое, что если они вообще смотрят куда-нибудь, то только потому, что не хотят держать глаза закрытыми.

— Я от Роома, — произнес я, оглядев удивленным взглядом странную компанию. Однако при этой новости никто из них не проявил ни малейшего признака ажиотажа. Либо они, застыв в этих позах с прошлого столетия, ничего не слышали о великом режиссере, либо слишком хорошо его знали, чтобы волноваться при звуке его имени.

— ...Мне нужен товарищ Калюжный, — продолжал я.

Фигура, сидевшая в позе роденовского «Мыслителя» у окна, склонила набок голову, с зародившимся любопытством оглядывая меня с ног до головы. Это был огромный дядище, имевший вид хорошо откормленного слоника, прошедшего курс красоты у Элизабет Арден. Со снобистской старательностью постриженная белобрысая шевелюра не то чтобы элегантно, но с какой-то особенно нежной заботливостью обрамляла его мясистые буддистские уши, а пухлый, величиною с ананас, кулак сжимал в мягкие складки подпираемые им щеку и нос. Нос же сам по себе был чем-то совсем особенным: столько мудрости, благодущия и знания человеческой души светилось из его глянцевого-необитной поверхности, что все кругом как бы таяло и расплывалось в его лучах.

— Сочувствую! — произнесла фигура через несколько секунд.

— Г-м... — сказал я, усталым жестом поддернул брюки, сел на стоявший у стенки диван и, откинувшись назад, медленно закрыл веки. Из-под них я все же почувствовал легкое движение в комнате. Это переглядывалась выведенная из своего анабиоза компания.

В пояснение вышеизложенного надо сказать, что ни в одной стране мира так не любят и не умеют разыгрывать новичков, как в России. Разыграть человека — одно из немногих развлечений, оставленных на долю интеллектуальной части подсоветского населения пуританскими замашками советской власти. Дансингов нет (в то время, по крайней мере, не было), варьете нет, кафе, игорных домов и рулеток тоже нет. В такой атмосфере неудивительно, что разыгрывание публики преврати-

лось в тонкое и высокостоящее искусство саморазвлечения.

Когда я вошел в обитель Калюжного, мой натренированный по этой части нюх сразу же учуял готовящееся на меня покушение. Мрачное — «сочувствую!» — укрепило меня в моем подозрении, и я моментально сообразил, что поддаваться на удочку нельзя.

Через некоторый промежуток времени, достаточный для созревания общественного интереса, зарожденного моим поведением в умах четырех молчаливых субъектов, я с сонной восточной ленью приоткрыл один глаз. Преисполненное того же безучастного любопытства, надо мною склонилось лицо с трубкой, торчавшей из середины губ.

— Бедный! Он голоден!.. — с состраданием произнесло лицо. — Вы с Украины?

— Нет, я от Роома! — устало ответил я.

— Ах, от Роома! Он вас не кормит?! Сукин сын Абрашка! Уже пять человек уморил!

— Штосс! Дай чоловичку кильку! — раздался где-то вблизи тот же бархатный бас. Человек с трубкой отвернулся и принял переданную ему вилку с нанизанной на нее килькой.

— Вот, нате! Это вас укрепит.

Я открыл второй глаз, выпрямился и с легким страхом посмотрел на склизкий серенький комочек, торчавший на единственном зубе заржавленной вилки. Происхождение и качество этого комочка было мне очень хорошо знакомо. Это была самая обыкновенная килька, такая, какими периодически заболевает московская кооперативная сеть и половина московского населения. Во время таких килечных припадков это маленькое животное забивает собой весь живой организм московских кооперативов, а Институт Склифосовского* лихорадочно выводит новую противокилечную вакцину. Через некоторое время, когда у населения уже вырабатывается соответствующий иммунитет, Наркомвнуторг обычно успевает справиться с килечным наводнением. Но население должно же все-таки чем-нибудь питаться, и вот на месте кильки появляется что-нибудь вроде грибной икры, дальневосточных омаров или консервированной

* Московский институт скорой помощи.

баранины с горохом. Омары были знамениты дизентерией, а баранина, за полным своим отсутствием в консервных банках, — горохом, от которого животы московского обывателя принимали буржуазную округленность, свидетельствуя тем самым о нарождающейся зажиточности. Впрочем, у баранины было еще одно свойство, которым, быть может, в значительной степени объяснялась ее феерическая популярность: на бумажных оклейках жестянок была изображена баранья голова, до смешного напоминая горделивый профиль нашего общего любимого вождя. Не знаю, куда и на сколько поехал портретист — автор шедевра, но баранина скоро исчезла с московского рынка, уступив место какому-то очередному кулинарному достижению.

Долг вежливости заставил меня принять вилку из рук человека с трубкой. Но мысль о необходимости «подкрепиться» этой килькой как-то не вмещалась в мою голову. Под всеобщее напряженное молчание я смущенно вертел вилку в руках, виновато поглядывая на своих благодетелей. Благодетели переглянулись и по-своему истолковали мое замешательство: огромный белообрый детина вышел из своей позы роденовского «Мыслителя» и, нырнув за диван, извлек оттуда надпитую литрочку.

— Видно, что человек знает толк в гастрономии! — пробасил он, наливая мне рюмку. — Вам какой годок идет, молодой человек?

— Ух, не спрашивайте! — ответил я, предпочитая не навязываться на комплименты.

Через полчаса того сорта пустопорожних разговоров, которые, по отзывам компетентных романистов, предшествуют заключению крупных сделок между акулами капитализма, Калюжный (он же Оська, он же человек в позе «Мыслителя») ловким маневром перешел, наконец, к непосредственной цели моего посещения.

— Ну-с, — пробасил он, жестом крупного экскаватора опуская на стол крохотную в его ручище рюмку. — Так, значит, твой патрончик (меня он, как, впрочем, и всех окружающих, сразу стал называть на ты, больше всего в жизни не терпя официальностей) имеет какие-то притязания? Интересно узнать, что теперь опять понадобилось старикашке? Ты не справлялся — сколько будет стоить сжечь его в крематории? Живьем, конечно; ждать, пока эта сволочь сдохнет...

Я извлек из кармана скрижаль со вписанными в нее «притязаниями» Роома. За неимением блокнота я записал их огрызком карандаша на старом конверте, прижав его к шершавой, облупленной стене фабричной лестницы.

Тут необходимо сказать, что все то, что продиктовал мне Роом, было в то время для меня хуже, чем китайская грамота. Это не было даже простым жаргоном специалиста. Для меня это было эссенцией какой-то огромной и, по-видимому, чрезвычайно важной работы, ведомой моим грозным патроном и его сателлитами, и не мне, малому миру сего, было обращаться к нему за разъяснениями. Извлекая из кармана скрижаль, я подумал о том, что Калюжный, быть может, окажется тем толкователем, который откроет мне глаза на смысл ее содержания.

Но на пути к толкованию стояла еще одна небольшая загвоздка, затормозившая на некоторое время ход торжественной читки скрижалей. Дело было в том, что мой почерк немного смахивает на тот непревзойденный вид каллиграфии, который практиковался, если я не ошибаюсь, у ацтеков, задолго до прибытия на место действия Христофора Колумба: разной величины и сорта узелками, вязанными в клубок ниток.

Я долго корпел над первой фразой. Но специалисты утверждают, что нет больше на свете такого шифра, который бы не поддавался анализу человеческого разума.

— Коньяк! — радостно вскричал я, разобрав смысл первого узелка, и, по ассоциации, восстановил утерянные слова фразы. — Он говорит, чтобы вы брали коньяк и везли его к Бассу!

— Гм... Коньяк?... — произнес Калюжный таким тоном, как будто относительно судьбы коньяка он знал что-то, чего он никому на свете не скажет.

— М-дэс... Коньяк-с?... — повторил Штосс (человек с трубкой). Штосс был первым помощником оператора роомовской группы и по своей должности делил с Калюжным все радости, равно как и невзгоды жизни. Видно было, что коньяк, добытый где-то Роомом для умаствивания сильных мира сего, они выпили вместе.

Укоризна была в моем взоре, когда я взглянул в ясные, как рюмка водки, глаза Калюжного. Но у меня не хватило сил превознести ведомственный эгоизм над уважением к этому человеку. Он был огромен, этот хохол, огромен физически и мо-

рально! Это все, что я могу про него сказать. Отведя свои взоры от его глаз, честных той честностью, которую дает мудрость и которая, на наш суетный, мелочный и обиденный взгляд, быть может, уже за честность и не считается, я снова погрузился в разбор своих записей.

— Муз... Муз... Рев... Ага! Он хочет сказать, что Музей истории революции у него в кармане.

Своим слабым умишком я не понимал, что может означать на языке посвященных такой оборот речи, и с надеждой уставился на Калюжного.

— В кармане? — строго спросил тот. — В каком кармане? Если в жилетном, то жилетки у него нет! Это я знаю совершенно точно. А остальные у него дырявые! Вообще, голубок, я тебе скажу, если Абрашка тебе что-нибудь говорит, так ты плюнь ему в рожу! Я уже с ним восемь лет работаю! Страдаю, так сказать, в качестве седьмого колена за грехи первого! А Музей революции будет в том кармане, в котором уже лежат «Пять восходов». И без наряда на сценарий Абрашку в архив никто и не пустит.

Ситуация немного прояснилась. Вопрос, очевидно, шел о каком-то фильме, для постановки которого необходимо было проникнуть за кулисы Музея революции. И столь же очевидно было, что Роом собирается заполучить этот фильм для себя, но либо еще не заполучил, либо не заполучит вообще. Впрочем, нечто в этом роде я подозревал и раньше, но в свете такой интерпретации вопроса вчерашний разговор Роома с Сидоровым стал облекаться в более плотские формы: там тоже фигурировал какой-то сценарий...

— Кроме того, Роом просит передать Бассу, — продолжал я, — что он достал Махно и что Горман лично знает Будённого, так что тот сможет присутствовать на съемках. И фотографии Роом тоже достанет. А если на Басса такое эмбагас не подействует, то он просит, чтобы Басс оставил «Пять восходов» до завтра, — он думает устроить Золь... Золь... Зольцману! Значит, он думает устроить Зольцману командировку в Крым, тогда, быть может, Зольцман от «Пяти восходов» сам откажется.

Я взглянул на Калюжного, ожидая от него какого-нибудь жеста или замечания, которое разъяснило бы мне всю эту белиберду. Но Оська сидел, как Будда, и таинственная усмешка кривила его губы, напоминающие пару

буржуйских сосисок. Не найдя в них ответа, я снова принялся читать.

— А кроме того, Роом говорит, что вы можете взять пленку у Кержа, он с ним сговорился, и отдали бы ее Ясновскому. Он сказал, что вы сами знаете, в чем там дело. И еще — чтобы вы были в три часа в технической столовке и привели с собой какого-то «этого сопляка». Он не сказал, кого именно. Вы якобы сами знаете. Он вас там будет ждать... Так, как будто бы все! Что вы имеете ко всему этому добавить?

— Ишь, гадюка! — медленно выговорил Оська, когда я кончил. Слово «гадюка» он произнес с тем неподражаемым хохлацким «г», которое придает такой изысканный вкус всем начинающимся на эту букву словам. — Это значит, у Балды-Бановского* он хочет перехватить Горького, у Зольцмана «Пять восходов», а теперь еще, видимо, у Ясновского — «Толмача из Грэхмэ»! Ну и жлоб! Ну и ловчила! Это ж прямо Господи Боже ж мой! — Оська жестом призвал Бога в свидетели своим словом.

— А что значит «он с ним сговорился»? — вмешался Штосс. — Это Роом сговорился с Кержем, когда Керж ему руки не подает?! Это я доставал Кержу макеты для его мультипликаций, и он мне теперь дает двести метров пленки! Так Абрашка хочет, чтобы Оська их теперь отдал Ясновскому.

— Да, он что-то говорил насчет того, что Ясновскому не на чем иначе крутить какой-то...

— Да, это-то понятно! «Толмача из Грэхмэ»! Так он хочет откупить «Толмача» за двести метров пленки?

— Нет, он говорил, что, если Ясновскому нечем будет крутить этого самого «Толмача», так тот пойдет к Бассу и попросит у него какой-то другой фильм. Не помню, какой именно он называл.

— Ах, так это «Тихий Дон»! — произнес Калюжный таким тоном, будто он узнал, что Роом собирается устраивать покушение на самого Сталина. — Ишь ты, куда, собака, метит!

— Ну, это шалишь! — возмутился Штосс. — Это значит, он нам опять, как в прошлый сезон, навалит пять фильмов, а потом мы не скрутим ни одного, и Оська снова сядет за срыв плана! Это уж дудки-с! Пленки я ему не

* Оськина интерпретация имени Балабановского.

дам, пусть мерзавец лопнет, не дам! Это пусть он мне сначала вернет мундиры с «Железного потока»! Они до сих пор на моем имени числятся! Того и гляди докопаются — кто мне будет передачи носить? Абрашка, что ли?!

— Передачи пусть тебе Пудовкин носит, — успокоительным тоном заявил Калюжный. — Ты своих мундиров можешь еще до конца пятой пятiletки ждать. Абрашка отдал их Пудовкину для «Потомка Чингисхана», а тот кормился на них со всей трупной целым месяц в Туркестане. Им жрать было нечего — вот они и меняли их у чебуреков на брынзу и на баранину. А Пудовкин устроил за них Абрашке эту самую американскую аппаратуру, на которой я теперь скоро за вредительство сяду. Аппараты выписал Киршон, а когда увидел, что с ними его выдвиненцы не справятся, так он их мне перепихнул. А у меня с ними уже восемь аварий было, откуда мне знать, как с ними справляться? А Абрашка гоголем ходит; у него, дескать, американская аппаратура, ему и ток вне очереди, и «юпитеры» самые лучшие! Я ему эту аппаратуру на пятую свадьбу подарю: пусть дети радуются! Бисово отродье!

— А сопляк?! Вы знаете, кто такой этот сопляк? — неожиданно тихо и пискляво по сравнению с Калюжным произнес Агафий — небольшой тихонький человечек с гнусненькими, будто плешивыми усиками. До самого постигнутого его трагического конца я так и не сумел выяснить роли этого «Агафия». Что он делал в этой компании, чем он вообще занимался, даже имел ли он вообще какое-нибудь отношение к кино — осталось для меня тайной, которую он, по-видимому, унес с собой на Лубянку, куда в одну тихую осеннюю ночь перед нашим первым побегом перекочевали они с Калюжным. Или, может быть, перекочевал один только Калюжный, а Агафий пошел добывать себе следующие тридцать сребреников где-нибудь в другом месте? Аллах его ведает!..

— Вы знаете, кто такой этот «сопляк»? Вот вам Роом. Живой Роом! Алексея Толстого он называет сопляком! Толстого хорошо знает моя сестра, а он в хороших отношениях с Горьким. Так Роом просил, чтобы Оська как-нибудь нашел пути к Горькому — вот я и обещал свести его с Толстым. Ха! Сопляк! Да, если Роом сам придет к этому сопляку, так тот его и не примет совсем. А он что — хочет, чтобы Оська его в

техстоловку привел?! Ха-ха-ха!.. — Агафий залился таким робко-сатирическим смехом. Видно было, что он, с одной стороны, чувствовал, что и ему не мешало бы лягнуть Роома в pendant к общему настроению. Но, с другой стороны, Роом был все-таки начальником почти всех, за исключением его самого, присутствующих, и малость недоразвитое чувство такта не позволяло Агафию слишком уж явно глумиться над общим патроном.

Четвертый член компании угрюмо молчал, жуя одну за другой мятные лепешки и поминутно отплевываясь. При плевке щеки у него надувались до размеров четвертого номера футбольного мяча, так что почти заслоняли маленькие щелевидные глазки. Желтый вихор при этом взметался протуберанцем вверх, и шея вытягивалась, как у марабу, долбящего клювом по лягушке в болоте.

Четвертого члена звали Терентием, происхождение какового псевдонима терялось, если можно так выразиться, в догадках. Настоящее его имя было чем-то вроде Армана Каdifовича, а фамилия его была Хаджанов, и род свой он вел откуда-то из далекого, знойного Туркестана, чему, однако, совершенно противоречил его чуб цвета свежерезанной дыни. Терентий был светотехником и по-русски в совершенстве владел только необходимым в его профессии набором ругательств. Когда Роом перешел на производство звуковых фильмов, Терентия пришлось поначалу удалять из ателье на время непосредственной съемки. Он никак не мог постичь того, что его тирады запечатлеваются на синхронной полосе пленки, даже в то время, когда аппарат направлен вовсе не на него. Потом Терентий свыкся и ругался уже одними только жестами, но запрещение ругаться вслух сделало его молчаливым, каким был тот «Великий Немой», которому он верно служил в течение, кажется, пятнадцати лет...

С момента моего прихода Терентий не произнес ни одного слова. Он только жевал свои лепешки, плевался и время от времени прополаскивал рот водкой. Но теперь его уста разверзлись.

— Абрашка стэрва. Она ходыль к Басса, говориль Зайберман рвач, Зайберман браль две фильмы и теперь хотел получить еще культура «Подводный мир». Абрашка раскрываль

классовый враг. Мне Димка говорил — бассовый шофер.

— Матка Боска ченстоховска! — возопил Калюжный, — так это, значит, Абрашка хочет отгяпать у Зейбермана еще «Подводный мир»!.. Что он — окончательно рехнулся, что ли?! Нет, его надо в крематорий! Юрка, беги скорей, спроси, сколько будет стоить, Басс заплатит! А нет, так в складчину соберем! Нет, ты, Терентюга, наверное, знаешь?

— Как не навэрное? — обиделся Терентий. — Раз Димка сказал, значит, навэрное! Я ему пятьсот ватт лампу украдь! Как может быть не навэрное?

И Терентий с ожесточением плюнул в угол липкими остатками мятной лепешки. Лепешка приклеилась аккурат в центре висевшей в углу карикатуры на хозяина дома. Почти в тот же момент, когда она долетела до места своего назначения, на голову Терентия опустился, как медицин-болл на таракана, кулачище Калюжного. Терентий издал предсмертную икоту и разразился всем своим, оказавшимся довольно обильным, запасом слов «великого, могучего»...

Мозаика фабричной кутерьмы

— Юноша! — говорил Роому Калюжный в тот момент, когда я подходил к этой нежной парочке во дворе Первой звуковой фабрики «Союзкино». — Если у тебя до сих пор все зубы, кроме пломбированных, в порядке, то за эту счастливую случайность ты должен благодарить моих покойных родителей; они были добрыми людьми и воспитали своего сына в любви к ближнему своему. Но имей в виду: ближний — понятие относительное! И определять это понятие...

— И чего тебе от меня хочется?! — визжал Роом, не вслушиваясь и не вдаваясь в архитектонику Оськиных фраз. Он простирали вперед обе руки таким жестом, как будто хотел упереться в грудь надвигающейся на него глыбы и тем самым хоть на миг приостановить неотвратимость ее движения. — И чего ты мне жизни не даешь?! Ведь ты же идиот, ты же кретин, хохлацкая твоя морда!..

— ...И определять это понятие, — продолжал Оська громовым басом, — без интонаций бу-

дет не папа римский, а буду я! — При этом он продолжал медленно надвигаться на тшедушную фигурку Абрама Матвеевича, немного расставив руки в стороны и наклонившись вперед. Фигура получалась в высшей степени динамическая.

Динамичность ее почувствовал, видимо, и сам Роом, потому что, когда он, по-крысьи, мельком, оглянувшись через плечо, узрел меня, он в три прыжка очутился за моей спиной и продолжал уже оттуда:

— Ты ж пойми, мешугене: ведь если мы будем иметь Горького, так нам же ГПУ даст... Что ты думаешь, нам ГПУ не даст?

— То, что ГПУ имеет обыкновение давать, я как добрый христианин, предпочитаю оставить всецело в твое пользование! — рокотал Оська. — Пусть это оно перед тобой рассыпает свои дары, и пусть для тебя раскроются врата его сокровищниц! Годиков этак на пяток! Шрейб открыткес!

* * *

Я стою у фабричного коммутатора в ожидании звонка с Лубянки. Если Лубянка будет требовать Роома, я должен с быстротой верного пса разыскать его, где бы он ни был. Если Лубянка будет требовать не Роома, а кого-нибудь другого, — это не меняет моей задачи: данный случай составляет редкое исключение, когда разговор с Лубянской представляется Роому его приятной и неотъемлемой частной собственностью, на которую никто из посторонних никакого права не имеет.

В каждом отделе фабрики, у каждого директора и помдиректора, в каждом ателье, в контрольной будке, в гримёрной и даже, наконец, у некоторых (немногих, правда) особо высокопоставленных режиссеров имеется свой телефон. Вся эта масса телефонов, как ручьи в озеро, вливается в коммутатор. В коммутаторе царит и главенствует Нин-Павловна — девица со вздернутым, веснушчатым носиком и всеми прочими атрибутами телефонистки.

— Б-ззз... бззз... — поминутно трещит сторотое чудовище-коммутатор, и Нин-Пална с усталой заботливостью опытной няньки затыкает взывающую глотку соской — контактом.

Но у Роома телефона нет. У него нет даже

собственного кабинета, если не считать кабинетом крохотную закуту, «а ту фер» в одном из дощатых барачков на фабричном дворе. На дворях такой закуты прибивается обычно бумажка с номером той съемочной группы, которая оказалась энергичнее, сплоченнее и оборотистее других, и завладела данной закутой в свое бесконтрольное, хотя и временное пользование. Каждый, даже самый заурядный член группы считает себя полноправным жильцом такой закуты: в ней происходят читки ролей и сценариев, в ней гримируются статисты, в ней же постоянно «перекуривает» и толчется всякого рода посторонняя публика. Тут же помреж (в данном случае — я) сваливает на пол привезенные с Потылихи костюмы и бутафорию, и тут же помощник оператора (в данном случае — Штосс) перематывает и просматривает архивную пленку в поисках какого-нибудь самума или извержения Везувия. Одним словом, такая закута представляет собою котел, в котором варятся и из которого медленно, метр за метром, отцеживаются шедевры родной кинопродукции.

Но телефона у Роома нет. Все, что у него есть, — это право послать своего помрежа к коммутатору, если предвидится какой-либо особо важный вызов. Впрочем, и это право в значительной степени обуславливается личными качествами и способностями помрежа: Нин-Пална развела на коммутаторе почти средневековую автократию и в свои царственные покои допускает лишь своих непосредственных фаворитов.

Я — человек новый и для фаворита еще явственно слишком юн. В покои я был допущен скорее благодаря хотя и царственному, но все же женскому любопытству, чем по каким-нибудь другим соображениям. Теперь я стою, прислонившись к коммутаторному шкафчику, и всем своим видом стараюсь «не мешать». Как и всегда бывает с женским любопытством, у Нин-Палны оно выражается в том, что говорит, главным образом, она, а я все больше отмалчиваюсь. Говорит она прерывисто, пересыпая свою речь специальной терминологией, относящейся, впрочем, не ко мне, а в трубку к неизвестным собеседникам.

— Ишь ты, вон оно как! Значит, Роомчик (в трубку: Да-а! Даю, шестнадцать!) обзавелся, значит (в трубку: Алло, шестнадцать? Говорите!), так

сказать новым человечком?! И как это вы решились? Вы, говорят, из-за гра... (в трубку: Алло, звуковая!)... из-за границы приехали? (в трубку: Да-а, 19-22-40, да-а, даю!) Вы случайно шелковых чу... (в трубку: Да! Куда вы лезете?! Повесьте трубку, тут и без вас еще очередь стоит.) чулочек шелковых не привезли случайно?

Я стою здесь уже около полутора часов, и до сих пор Нин-Пална ни на одну секунду не закрыла рта. Она бодро продолжает в том же духе, и так с обеда и до полуночи, когда ее сменяет некто Дуся — особа, от Нин-Палны ничем существенным не отличающаяся. К концу рабочего дня главная нагрузка Нин-Палны заключается в сложном выборе между приглашающими пойти поужинать. Ибо — кому не лестно завести блат у всеведущей и вездесущей директрисы спинного мозга кинофабрики? Время от времени Нин-Пална, соединив два номера, производит какую-то таинственную манипуляцию с контактами и потом с минуту напряженно слушает. Эти промежутки затишья в ее деятельности долгое время были для меня загадкой, но потом я сообразил: в эти минуты Нин-Пална прикладывает ухо к нервным токам кинофабрики, следила за биением ее сердца и обогащалась теми знаниями, за которые так ценилось ее благоволение.

После одной из таких пауз Нин-Пална еще на секунду задержала продолжение своей бурной служебной деятельности и взглянула на меня таким лукаво-испытующим глазом. Не знаю, в чем она хотела убедиться. Быть может, в рентабельности заведения со мною блата...

— Послушайте, мальчик! — сказала она (в то время я уже находился на той ступени умственного развития, когда наименование «мальчик» еще, правда, не перестало быть обидным, но уже не носило характера смертельного оскорбления). — Если я вам одну штуку скажу, по-хорошему, так вы не будете болтать, как сорока, направо и налево?

— М-мм... постараюсь!.. — ответил я таким тоном, как будто считал ниже своего достоинства доказывать мои, и без того всякому ясные, добродетели.

— Постараетесь? Да, да, господи!! Алло? Да, даю! Ну, если постараетесь, так скажите вашему Калюжному, чтобы он не валял дурака! Сценарий Горького — самая большая работа в году, и

для нее Басс ничего не пожалеет! Вчера Басс два часа говорил с самим Ягодой, а это что-нибудь да значит! Сценарий получит Роом, и если Оська от него уйдет, так он дураком будет! Скажите ему это от меня, только смотрите, чтобы об этом никто — ничего! Поняли?

* * *

— Алло, Юрий Иванович! — поймал меня Роом на перебежке из одной двери в другую. — Куда вас черти носят?! Почему я вас каждый раз должен пять часов искать, когда мне чего-нибудь нужно. Вот, нате вам командировку, бегите к Натальману, пусть он вам выпишет путевку для получения литеры, а потом поезжайте на Курский вокзал и возьмите Зольцману без очереди билет на Севастополь, третьим классом с плацкартой. Если он захочет первым ехать, так пускай сам доплачивает! Я ему не перекупщик! А потом, до восьми часов вечера я вас отдаю под распоряжение Зольцману: вы ему делайте все как для меня! А после восьми чтобы вы были у меня на квартире, мне еще нужно с вами кое-чего поговорить! Ну, бегите, айда, айда!

Я посмотрел на командировочное удостоверение, сунутое мне в руку: *«Дано сие режиссеру тов. Зольцману А. М. в том, что он командирован Гупр. «Союзкино» на южное побережье Крыма для подыскания типажа и предварительной разведки местности, для постановки национально-татарского фильма...»* и т. д., и т. д...

В восемь двадцать я погрузил Зольцмана — анемичного еврейчика, с тремя чемоданами и тюком подушек, в поезд Москва — Севастополь. Он долго ругался, что Роом, против договоренности, достал ему не первый, а всего лишь третий класс, но вскоре забылся в счастливом предвкушении «разведки местности» на южном берегу.

«Пять восходов» остались, таким образом, в наследство Роому.

* * *

Поздно вечером, часов около одиннадцати, я сижу у Роома наверху. Роом только что вернулся с какого-то важного делового свидания,

на каковом свидании дело, видимо, не обошлось без легкого вспрыскивания. Он явственно навеселе, и в этом состоянии больше всего напоминает пьяную ворону: тыкается повсеместно своим неарийским клювом, с блаженной бессмысленностью ухмыляется, и руками, как крыльями, пытается удержать свое весьма условное равновесие.

— Й-й-юрий Иванович-ч... — начинает он, жестикулируя механического робота, в самоуглубленном молчании, снимая пиджак. — Хе-хе-хе... Так и не могу никак понять — почему это вы — и вдруг Иванович? Ну, оставим, оставим!.. Я ведь понимаю, — вы ведь совсем не «вдруг», а уже целых... сколько? Семнадцать, кажется, лет — Иванович!.. Хе-хе-хе...

Он продергался марионеткой взад-вперед по комнате, потом подошел и стал прямо передо мной. Я сидел на диване, на котором проспал часик до его прихода, и сонными непонимающими глазами глядел на происходящее. По-видимому, не все доходило до моего сознания.

Он стоял, широко, но шатко, расставив ноги, и, заложив большие пальцы рук под мышки, глядел на меня маслянистыми глазами. Что-то демоническое светилось в них. Потом он самодовольно ухмыльнулся.

— Смотрите, смотрите, дорогой мой! — произнес он, пойкивая на запястьях. — Запечатлейте себе эту картину на носу! Вы смотрите теперь на Абрама Матвеевича Роома — величайшего драматического гения всех времен и всех народов! Завтра, быть может, за то, чтобы на меня посмотреть, нужно будет платить деньги или быть, по крайней мере, самим... ик... гениальным товарищем... ик... неподрожимым Алексеем Максимовичем!.. Вы теперь большой человек, Юрий Иванович! Вы даже сами не понимаете! Вы ведь теперь мой помощник! Вы знаете, что это значит?!

(Продолжение следует)